

МИХАИЛ ПОПОВ



КАПИТАНСКАЯ ДОЧЬ

РОМАН*

*Однажды, ночью вороною,
молчанье белое храня,
прекрасный ангел спал со мною
и сделал девушкой меня.*

А. Герасимова

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

1

Майский полдень в советском райцентре конца шестидесятых. Неподвижная свежая зелень на деревьях вдоль улицы Советской, взбодрённой утренним ливнем. Редкие прохожие смутно отражались в зеркале асфальтового тротуара. Входные двери “современного” — стекло, бетон — универмага отбрасывали большие, весёлые блики, выпуская и впуская покупателей. Тележка с рукотворной газировкой подвергалась бесшумной атаке ос, это раздражало пухлую продавщицу. На противоположной стороне улицы гос-

ПОПОВ Михаил Михайлович родился в 1957 году в Харькове. В 1983 году окончил Литературный институт. Автор двух сборников стихотворений и двух десятков книг прозы. Наиболее известны романы “Пир”, “Невольные каменщики”, “Пора ехать в Сараево”, “План спасения СССР”. Член Союза писателей России. Живёт в Москве

* Журнальный вариант

подставала афиша кинотеатра “Заря”, на ней было начертано огромными белыми буквами непонятное слово “Героин”.

Третьеклассница Ларочка Конева возвращалась из школы домой. Пробежав мимо универмага, она свернула на улицу Коммунистическую, в конце которой видны уже зелёные ворота военного городка, где служит её отец, капитан Конев, и проживает всё её семейство, состоящее ещё из бабушки Виктории Владимировны, мамы Нины Семёновны.

Дорога вела мимо обшарпанной третьей школы, в которую Ларочку не пустили родители, хотя она и ближе к дому, потому что у третьей плохая репутация. Ларочка искренне гордилась, что учится в пятой; она бежала мимо райкома комсомола с бюстом почти не узнаваемого Ленина на постаменте перед входом; мимо магазина “Филателист”, где, кроме марок, продавались карандаши, тетради и канарейки; мимо...

— Девочка, хочешь конфетку?

Дядя. Незнакомый. Некрасивый. Серые штаны на тонком ремешке, рубашка с короткими рукавами и связкой олимпийских колец на нагрудном кармане. Улыбается. Но улыбка неприятная.

Ларочке не хотелось никакой конфетки. Дома её, наверно, уже ждёт мама, обещавшая приехать сегодня утром. Она была “в области” на курсах повышения медработников и уж, конечно, привезла кое-что поинтереснее конфеток. Но дядя улыбался так заискивающе, что третьекласснице стало его жаль, и она кивнула, — ладно, давайте свою конфетку.

Он неловко полез в карман, и лицо его стало виновато-удивлённым.

— Ой, забыл. Тут рядом в мастерской, пойдём, я тебе там дам.

На лице Ларочки появилось сомнение. Ей никуда не хотелось идти, и дядя быстро спросил, пока она не успела отказаться:

— Тебя как зовут, девочка?

— Лариса, — сказала школьница, так её научили себя называть в официальной обстановке, например, в классе. Данную ситуацию она сочла нужным рассматривать тоже как официальную.

— Ларочка! — воскликнул негромко дядя, и девочка удивилась и была немного сбита с толку. Незнакомец легко и сразу вычислил её домашнее, ласковое имя. Она кивнула.

— Вот и хорошо, пойдём. Пойдём, Ларочка. А то мне так стыдно, пообещал конфету, а сам забыл.

Вот как всё обернулось. Дядя шмыгал носом, он был очень смущён. Кроме того, можно считать, что они уже как-то сошлись. Почему бы не сходить? Не из-за конфеты, конечно. Просто немножко любопытно, да и дядю жалко, какой-то он... даже, кажется, хромает.

— А это не за речкой?

Родители и бабушка категорически запрещали Ларочке ходить через мост за Чару, там ивняки, там заброшенная лодочная станция со страшными дырявыми байдарками, там мальчишки жгут костры и дерутся.

— Да нет, за какой речкой, здесь рядом, за кочегаркой.

Получается, что она ничего не нарушает, всё рядом, возьмёт конфету, и всё. Третьеклассница хлопнула портфелем по коленке.

— Пойдёмте.

— Вот и хорошо, и не надо меня бояться.

— А я и не боюсь.

Ларочка сказала правду, ей несколько не было страшно.

Они свернули с улицы на тропинку между липами и направились вглубь двора. Мимо напряжённо гудящей трансформаторной будки, как будто проглотившей огромную пчелу. Мимо прохладной компании белоснежных простыней на провисшей верёвке.

— Куда, сюда? — деловито осведомилась Ларочка. Такой у неё был характер. Если приняла решение, то дальше она — сама решительность и деловитость.

— Сюда, сюда! — хрипло шептал дядя, отворяя грязную железную дверь и опасливо оглядываясь, не обратил ли кто внимания на них. Место глухое, тихое, хоть и в центре города.

Коневы жили в отдельном одноэтажном доме с садом, примыкавшим к реке. Конечно, нет тех удобств, что в недавно построенных пятиэтажках для офицерского состава, но зато какой простор. Жена Нина пилила капитана: “Тебя не ценят, ты тряпка, удивляюсь, как нас вообще в капонир не загонят”. А капитану его “поместье” нравилось, и огород под боком, и рыбалка. Ларочке тоже нравилось жить у реки, например, этой весной, когда начался ледоход, то у них льдины плавали между яблонями, царапая острыми краями мокрую кору, а папа со своими солдатиками спасал под причитания жены и вой сирены картошку из родимого погреба.

Бабушка Виктория, как всегда, с улыбкою пила кофе, стоя на крыльце в чёрно-золотом халате с драконами. Она смотрела на наводнение без страха и внушила это бесстрашие внучке. “Что поделаешь, это стихия, Ларочка”.

Ларочка вбежала в большой, неправильно скроенный и от этого особенно уютный дом, где открыты все окна, отдернуты все занавески, и куда ни глянь — жасмины и сирени, то в оконных проёмах, то в зеркалах.

— Папа! Мама! Бабушка! — потрясённо кричала третьеклассница, вращая портфелем как пропеллером. Ей нужно было немедленно с кем-то поделиться открытиями, которые она только что совершила. Она была уверена, что все страшно удивятся. Что похвалят, она уверена не была. Вернее, не думала сейчас об этом.

Главное — рассказать!

Первая по коридору с веранды комната — спальня. Папина и мамина. Там всегда торжественно пахнет духами, там таинственно лоснящиеся шкафы с вожделенными платьями и туфлями на каблучках.

— Мама!

Мама Нина стояла на коленях перед открытым чемоданом и нервно записывала в него вещи. Пальто с песцовым воротником, босоножку, заматавшуюся в газовый шейный платок, и хрустальную салатницу. При этом мама тяжело, навзрыд плакала. Нескладно, кое-как, набив фибровое вместилище, она начала его закрывать, надавливая чахлой грудью на непокорную крышку.

Ларочка была потрясена: вместо того чтобы вытаскивать щедрые подарки из командировочного чемодана, она вела себя совершенно противоположным образом!

Школьница бросилась маме Нине сбоку на шею, чем нарушила её равновесие на коленях.

— Что я расскажу, мамочка, что я расскажу!

— погоди, дочка.

— Послушай, мамочка, послушай!

Чтобы не упасть на бок, придавливая говорунью, Нина Семёновна оттолкнула её острым локтем.

— Я сказала, погоди!

Ларочка слегка ошелопилась от этого приступа резкости. Она считала, что такого отношения никак не заслужила, она ведь хотела всего лишь рассказать...

— Не мешай, Лариса, не мешай мне! — Голос у мамы был такой, что девочка совсем растерялась. Она не отказалась от своей идеи порадовать домашних описанием удивительного события, произошедшего только что с нею, её не так-то легко было сбить с выбранного курса, она лишь решила слегка поменять порядок радующихся.

Выскочила в упойительно затхлый полумрак коридора и взорвала его.

— Папа!

Николай Николаевич Конев сидел в комнате, называвшейся “зал”. Сидел в продавленном кресле из чешского гарнитура с деревянными подлокотниками, под торшером: два опрокинутых ведёрка из крашеного картона. Он был в домашних штанах, подтяжках, голова очень круто поникла и была схвачена обеими руками самым отчаянным образом.

— Папа, послушай!

Капитан не мог слушать, его расплющивало неизвестное горе, и кажется, ещё и смешанное с позором. Ларочка, конечно, не отметила про себя именно эти особенности отцовской позы, она просто удивилась тому, как он странно сидит. Может, устал?

- Папочка, я тебе сейчас что расскажу!
- Не сейчас, Ларочка, не сейчас.
- А когда? — искренне и требовательно удивилась шумная школьница.
- Не сейчас, Ларочка, не сейчас.

Дочь очень удивилась. Папа никогда ей ни в чём не отказывал. Она знала, что папа её любит, ей было приятно знать, что он её любит, но вместе с тем она не раз слышала от мамы, что отец у них “тряпка”, он вообще не способен отказать женщине ни в чём, если она его хотя бы чуть-чуть попросит. И вот теперь папа отказывал ей.

С ума сойти!

Когда рассчитываешь на полную безотказность, то даже мягкий отказ сбивает с напора и ритма.

— Что же мне, к бабушке пойти? — вслух высказалась школьница.

В ответ на это капитан Конев только странно дернулся и ещё сильнее сцепил пальцы на затылке.

Папа явно испуган. Ларочка знала, что её папа “боевой офицер”, но при этом привыкла к мысли, что его очень легко поставить на место, которое предусмотрено для него в семье. И мама, и бабушка легко проделывали эту операцию, и дочь капитана знала, что и ей по наследству перейдёт это право.

Ларочка не выбежала из зала, а вышла медленно, размышляюще, прикусив губы. И увидела в дверном проёме Викторию Владимировну. Она как ни в чём не бывало гладила на веранде, расположив гладильную доску у решётчатого окна, закрытого с той стороны бесплодным виноградом. Бабушка орудовала утюгом, прицелившись глазом в его поблескивающий нос, и что-то брезгливо напевала.

Вот ей она всё и расскажет, решила школьница. Правда, желание поделиться невероятным событием из своей жизни уже начало потихоньку уступать желанию разобраться в том, что происходит в семье.

Тихо выйдя на веранду, она остановилась.

Виктория Владимировна отметила её появление периферическим зрением, но не стала уделять меньше внимания глажке. Даже поднесла ко рту утюг и плюнула ему в дно.

Ларочка молчала, обдумывая, с чего и как начать. Бабушку она не только любила, но и уважала. В свои сорок восемь лет Виктория Владимировна сохранила в себе больше женского начала, чем её всё отдающая работе и семье дочь в тридцать. Работала в парикмахерской, называла его “салонем красоты” и вела себя там верховной жрицей, хотя не считалась особо талантливым мастером ни среди коллег, ни среди клиентов. Но попробовал бы кто-нибудь ей об этом сказать в глаза.

— Ну что, Лариса, что тебе нужно, дочка? — Ларочке нравилось, когда бабушка называла её так.

— Ты знаешь, Вика (бабушкой Виктория Владимировна называть себя запрещала), сегодня такое случилось!

— Да знаю, знаю.

Ларочка открыла рот.

— Знаешь?

— Конечно.

Бабушка снова плюнула в утюг.

— А кто тебе сказал?

Виктория Владимировна повернулась к ней, поставив утюг на расплющенную юбку. Наклонилась к внучке, подавляя мощным черноглазым взором.

— Я вообще всё знаю наперёд. Ты сегодня перешла в четвёртый класс, правильно?

Ларочка не успела возразить. Бабушка своей простой, однозначной правотой перебила её столь необыкновенную историю в том тихом дворе за железной дверью.

Тут ещё сзади раздался такой звук, как будто весь дом вдруг поставили на пилораму и начали распиливать. Мама пронеслась по тёмному коридору в зал и накинулась там на капитана Конева, и так на всё согласного.

Виктория Владимировна прорычала несколько непонятных слов и решительно пошла в глубь дома.

— Ну, хватит, хватит! Что теперь делать, надо же как-то жить.

Ларочка вздохнула. Взгляд её упал на гладильную доску — юбка сгорит! Она схватила утюг, поставила его на специальный плоский камешек, острожно, чтобы не обжечься. И заметила вдруг, что утюг не включен, вилка волочится по полу. Зачем же тогда бабушка на него плевала?

А из недр дома доносился звук мучительного, с закушенными рыданиями и сдавленным беспросветным воем (мама Нина) скандала, поверх которого то и дело всплывало уверенное, повелительно успокаивающее мнение бабушки.

— Надо как-то жить!

2

Так ничего в тот день и не выяснилось. Взрослые не подпустили Ларочку к своим разборкам и действовали настолько консолидированно, что она даже заужала их общую слезоточивую и невразумительную тайну. Было понятно, что они ни официально хором, ни поодиночке не сообщат ей ничего. Ладно, решила она, не сегодня, так завтра кто-нибудь проколется, правда проклонется, так уж бывало не раз. А пока она им сама отомстит, то есть ничего не скажет о своём приключении в холодной кочегарке, тоже ведь было интересно, а они пусть не знают, дураки.

Свой секрет Ларочка решила опробовать на подружках, на таких же офицерских дочках, как и она сама. Она была главой выводка одноклассниц, и по её сигналу все имевшиеся поблизости Наташи, Лены и Кристины собрались в “штабе” — покосившемся, вросшем в землю жестяном вагончике, давным-давно забытом строителями.

Сошлись, готовые приобщиться. Затаив дыхание, выпучив глаза, кто простодушно, кто лукаво их прищурив.

— Так вот, — начала Ларочка. Описала улицу, по которой шла домой, описала мужчину, предложившего ей конфетку, и все офицерские дочки заявили, что узнают его даже из тысячи. Девичье дыхание сделалось чаще, когда пошла речь о закоулках, по которым мужчина с олимпийскими кольцами на кармане вел Ларочку в укромное место. И чем чаще Ларочка повторяла, что ей было совсем не страшно, тем затаённое становилось дыхание слушательниц.

Растягивая удовольствие, она замолчала, победоносно оглядывая подружек, она очень остро переживала факт своего превосходства над этими десятилетними, и даже постарше, клушами.

— И тогда он расстегнул ремень.

— Ой-ёй-ёй, девочки, мне пора, мне надо идти, — вскинулась белобрыса Света Михальчик. Дернулась было к выходу, но цепкие пальцы более устойчивых в нервном смысле товарок пригвоздили её к месту. Не сбивай рассказа!

Света захныкала, но это никого не тронуло.

— И тогда...

Пронизанный струями пыльного света из узких окошек вагончик замер, даже перестало пахнуть застарелым мазутом.

Ларочка ещё раз набрала воздуха в грудь, которой предстояло очень и очень развиться в будущем.

— И...

Неплотно прикрытая дверь вагончика распахнулась, и в проёме показалась бесформенная, кажущаяся громадной и угрожающей мужская фигура. Разумеется, все офицерские девочки решили, что это явился он — олимпиец.

Взрывом общего визга рыбака, носившего по странному совпадению имя майор Рыбаков, просто выбило вон из проёма, и он пропустил свору верещащих девчонок, как стайку рыб в разрыв невода.

Ничего не понял, всего лишь зашёл за банкой накопанных червей, а тут шабаш юных вакханок (если он знал это слово).

Понятно, что волнующая повесть о Ларочкином приключении мгновенно распространилась сначала по военному городку, а потом и другим городским кругам. Самым клейким её местом был не озвученный конец. Женскую половину слушателей больше всего заинтересовал сам факт — с чьей именно девочкой произошло такое щекотливое приключение. “Ах, Конева!” Мужскую интриговало, насколько далеко, после расстегивания ремня, зашло дело.

Но тут начиналась тишина. Трудно сказать, почему Ларочка пресекла попытки повторных пресс-конференций на эту тему. То ли поняла, то ли почувствовала, что если она расскажет всё, то перестанет вызывать живой интерес, и останется ей лишь один только нездоровый. То ли был это какой-то дикий девичий каприз. Психология существ этого пола и возраста за гранью понимания какой бы то ни было психологической науки.

Вместе с тем она постоянно оставалась в центре внимания, и не только недокормленных запретным плодом одногодок из гарнизона. Они-то всеми силами отдались служению жутковатой тайне пола. То и дело какая-то Наташа или Света подбегали к ней и страшным шепотом сообщали, что “видели его!” И тогда приходилось всей быстро разрастающейся толпой лететь или к керосиновой лавке, или к пункту заготовки вторсырья, или к книжному магазину возле автовокзала.

И каждый раз случалось одно и то же.

Мужики, отловленные бдительным вниманием подружек, ну ни в малейшей степени не походили под описание, сделанное на первом выступлении Ларочки в вагончике на берегу. Это были лысые толстяки, носатые, с бородкой, а то и вообще одноногие дядьки на протезе.

Ларочка сначала волновалась, потом начала злиться, а уж когда со своей “информацией” к ней подкралась Катька Куркова, приехавшая в город через неделю после события в кочегарке, Ларочка надавала ей по физиономии. После этого решили, что она истеричка.

Взрослые, до которых эта история тоже не могла не дойти, понимающе кивали головами: “А что вы хотите, девочка пережила такой кошмар”. И пытались осторожно поговорить с родителями и бабушкой Ларочки.

Те искренне не понимали, о чём идёт речь, даже шарахались от всяких попыток разговора по душам. У них были свои основания не впускать никого во внутреннюю жизнь своей семьи и приходиться в ужас от одной мысли, что посторонние начали догадываться об их тайне.

— Какие они странные, эти Коневы.

— Да уж.

— Я всего лишь сказала Нине, покажите её хотя бы врачу. А она выдурилась на меня и говорит — кого? Как кого, говорю, неужели непонятно! “Да что с ней может случиться?!” — “А если забеременеет, что будете делать?” — “Да кто в таком возрасте беременеет?!” — “А я только прочитала в “Науке и жизни”, что в Бразилии девочка в восемь лет уже родила”.

Нина Семёновна, подвергавшаяся этой деликатной пытке, заорала страшным голосом и, отпихнув слишком добрососедски настроенную подполковницу, убежала из магазина, роняя из хозяйственных сумок батоны и яйца.

Конечно, по гарнизону и городу поползли всё более чернеющие слухи.

Чем бы это кончилось, сказать трудно, но дело в том, что Коневы вдруг уехали из гарнизона.

Капитан, несмотря на всю свою мягкотелость и неспособность к отстаиванию своих интересов, добился перевода. Да ещё и в область, да ещё и на майорскую должность.

В гарнизоне к этому переводу отнеслись с пониманием, и даже поползли слухи, что таинственный владелец того самого ремня не простой человек.

Накануне отъезда по настоянию Викторией Владимировны (кстати, оставшейся для отдельного проживания в одной из комнат гарнизонного дома Коневых и при своей стильной работе в салоне красоты) был устроен некий вечер прощания. Помимо членов капитанского семейства, в числе приглашённых были ещё и старший лейтенант Стебельков с супругой и трёхлетним сыном — им доставалась большая часть жилплощади убывающих Коневых,

а также Лион Иванович, соученик Виктории Владимировны по Ленинградскому институту культуры, автор скетчей и комических сюжетов в основном для коллективов художественной самодеятельности, но иногда прорывавшийся и на профессиональную эстраду, перебравшийся к тому моменту в Москву. В общем, человек из мира большого искусства. Маленький, ловкий, как хорошо одетая обезьянка, в бежевой тройке с бабочкой, в очках без оправы и с часами на цепочке — вся эта сложная экипировка производила должное впечатление, почти все приглашённые немножко робели, несмотря на всю доступность, деликатность и лёгкую смешливость гостя.

Виктория Владимировна подавала его как центральное блюдо своего пира, как какая-нибудь сиамская императрица потчует гостей редким жареным скорпионом.

Конечно, Лион Иванович прибыл к гарнизонному столу не специально, это было бы слишком. Просто в окрестностях городка, вмещающего танковый полк, находился старинный монастырь, где происходили съёмки слезливо-исторического кинополотна под условным названием “Полонез Огинского”, а однокорытник Виктории Владимировны состоял в сценарной группе и имел шанс даже оказаться в титрах по итогам работы.

Конечно, демонстрируя уровень своих творческих друзей, Виктория Владимировна очень поднимала свой статус. Она собиралась появиться с Лионшей и в своём салоне, и организовала через майора Глуховца, начальника гарнизонного клуба, вечер-встречу с “известным деятелем кино”, но для начала и с самой большой педалью подала скетчиста у себя за столом, в домишке над Чарой.

Стебельковы были в отпаде, кажется, так тогда уже говорили. Незаметно для них самих этим застольем устанавливался на годы вперёд стиль их отношений с работницей салона красоты. Конечно, это будет что-то вроде добровольного радостного рабства: их мальчишка, когда подрастёт, будет бегать в магазин, старший лейтенант чинить бытовую технику, а мадам Стебелькова гладить и, возможно, даже стирать для подружки Лиона Ивановича.

Конева держалась много суше. Скетчист это чувствовал, но это его не растроивало. Он был дружелюбен, любезен и в силу этого выгодно смотрелся на фоне буки капитана.

Когда он шутил, Стебельков хохотал громче всех, показывая широту своей натуры. Ларочку посадили за стол как почти уже большую девочку, чем дали волю её наблюдательности. Она презрительно косилась на весёлого офицера, он ей казался предателем. Почему он не так же суров, как папа?

Она в течение этого вечера укрепила в своём отношении к отцу и узнала одну поразительную для неё вещь. Сначала про отца. Его она жалела, и уже давно, о чём шла речь выше. Но не только лишь жалела. Вынося его образ из стен дома, где он играл роль предмета мебели, да ещё и не главного, она считала своим долгом им гордиться и всегда до последнего отстаивала его точку зрения на явления окружающего мира.

Был такой случай в её школьной жизни. Учительница как-то задала классу загадку: “Что это такое, что и в воде не тонет, и в огне не горит?” Ларочка сразу выбросила вверх свою решительную руку, ибо досконально знала ответ. Ведь папа ей сказал как-то, что это русский солдат, “он и в огне не горит, и в воде не тонет”.

Зная избыточную активность ученицы Коневой, учительница не стала её спрашивать, а спросила кого-то другого. И другая девочка сказала: “Лёд!”. Была похвалена за правильный ответ, что вызвало совершеннейшую ярость Ларочки, она продолжала тянуть руку, она требовала, чтобы выслушали и её ответ. Ответ, который казался ей возвышенным и прекрасным, в отличие от банального ответа той другой девочки.

Наконец учительница, недовольно кривясь, дала ей слово.

— Русский солдат!

— Что русский солдат? — устало переспросила учительница.

— Русский солдат и в огне не горит и в воде не тонет!

Учительница встретилась с Ларочкой взглядом и поняла, что спорить не надо.

— Да, можно сказать и так, что лёд и русский солдат немного похожи. Гордая своей победой, в тот же вечер Ларочка рассказала отцу об этом эпизоде.

— Я ведь правду сказала, папа?

Капитан, в тот момент оторванный злой женской волей от любимого футбола ради прополки картошки, обнял дочку и, шмыгнув носом, сказал:

— Солдат да, дочка, а вот офицер...

И ей стало его так жалко, и эта жалость таким удивительным образом перемешивалась с гордостью за него, за ту правду, что он позволял ей испытывать перед той тусклой учительницей там, среди тупо хохочущего или вяло зевающего класса.

— Папочка, а я ведь дочь офицера?

Капитан только сильнее её обнял.

А в тот прощальный вечер произошло что-то скверное. Папа напился, хотя, в общем-то, не был гулякой и алкашом, как большинство подкаблучников.

Говорили о кино. Не вообще о кино, а о том фильме, при котором подвизался Лион Иванович. Бабушка и Стебельковы следили за тем, чтобы разговор никуда не отворачивал с этой творческой дорожки. Наконец, капитану Коневу это надоело, и он заявил, что “такие фильмы” он терпеть не может. “Какие?” — вежливо и весело поинтересовался гость. Капитан сказал, что любит фильмы настоящие. Гость попросил привести пример фильма, которые нравятся хозяину дома. Тот на секунду задумался.

— Вот “Героин”. В “Заре” шёл. — Капитан вспомнил, что замполит советовал сходить на эту картину, поскольку там отображены события на острове Даманский.

Лион Иванович радостно кивнул.

— Вы его уже видели?

— Я его ещё не видел, но я люблю героические фильмы, а не ваши полонезы.

Гость притворно вздохнул.

— Мне кажется, что вам это кино не понравится. Это документальное кино.

— А это ты врешь! Героизм есть героизм, и без него армия никуда, с документами или без документов.

— Там, извините, о героине, а не о героизме.

— А это ты не болтай, героя как ни назови, он всегда герой.

Ну, и так далее. Молодые Стебельковы сбегали в своё время в кино и знали, о чём идёт речь. Районные прокатчики, получив коробки с лентой, не разобрались, что там два фильма, один, действительно, о событиях на уссурийской границе, а второй о страшном вреде, приносимом наркотиком героинном. И на афишу вынесли самое звучное слово из написанных на коробках.

Стебельковы хихикали в кулак. Нина Семёновна была слишком занята своей не очень понятной тоской, тупо смотрела по сторонам, у неё не было сил что-либо понимать. Виктория Владимировна вертела за талию свою рюмку, подняв правую бровь. Лион Иванович сохранял на лице полную серьёзность, но Ларочке было понятно, что он издевается над её отцом-офицером. Это нужно было срочно прекратить, и Ларочка опрокинула бокал с вином “Лидия” на бежевые штанишки говорливого “денди”, но промазала, попала на подол бабушке. На неё она тоже была в данный момент сердита, хотя и в рамках общего почтения к её грандиозности и величию.

3

Город Гродно от других белорусских городов отличался тем, что во время войны его наши и сдали немцам практически без боя, и получили обратно, не штурмуя, поэтому он сохранил большую часть своего исторического вида.

Приземистый замок Стефана Батория на правом, высоком берегу Немана, несколько частично действующих костелов, сеть узких улочек старинной застройки, с крохотными магазинчиками и ресторанчиками. Культурным цен-

тром города был Дом офицеров, двухэтажный особняк, до такой степени увитый плющом, что напоминал лежащую овцу. В пристроенном у него в тылу концертном зале проходили главные гастрольные концерты, к нему же был прилеплен и специальный гимнастический зал для всемирно знаменитой гимнастки Ольги Корбут. Ларочка записалась сразу в пять кружков, имевшихся в Доме. Музыка, лепка, театральный, кулинарный, исторический и ещё хор.

Училась она отлично, пересадка её ученического организма из одной школьной почвы на другую (что иной раз ломает слабые характеры) прошла для неё безболезненно. Она умудрялась быть одновременно и формальным и неформальным лидером. Активно включалась во все официальные акции — макулатура, металлолом — и всегда оказывалась среди передовиков, при этом даже у самых закоренелых неформалов не возникало желания отлучить её после школы портфелями. И для них она оказывалась как бы своя. Когда пришло время вступать в пионеры, она не просто вступила, но скоро стала членом совета дружины с явными председательскими перспективами.

Каждое лето отправлялась Ларочка в пионерский лагерь. Детям обычно там не нравится, ей нравилось. Особенно во время праздников. Кутерьма, горн, ночные костры, песни в обнимку, слёзы, восхищение наступающим будущим.

Лагерь “Румлево” располагался на огромном, густо поросшем соснами холме, изрытом кротами. Повседневная жизнь там была, конечно, вяловата. Пионервожатые крутили между собой полускрытые романы и почти открыто исповедовали портвейн. Пионеры, предоставленные сами себе, зевали в беседах, скучно глядя на одинокий волейбольный мяч, валявшийся под дырявой, провисшей почти до земли сеткой. Отдельные личности охотились за земляничкой или бабочками. Ларочка им даже завидовала немного, их посвящённости и увлечённости, но чувствовала отвращение к столь немасштабной работе.

Лагерь преображался в последние три дня каждой смены, когда начиналась подготовка к “Большой эстафете”. Многоэтапное соревнование: прыжки, метание, плавание, шахматы, бег, волейбол, городки и всё, что только можно придумать. Причём суть замысла была в том, что соревновались не отряды, где победителя определяло бы простое преимущество в возрасте, а “цветные” команды, “нарезанные” по кусочку из каждого отряда. “Красные”, “синие”, “жёлтые”, “белые”.

Ларочка каждый год и на все три смены становилась членом своего штаба, и всегда это были “красные”. Она знала, как расставить людей. Лучше всех представляла, кто “у неё” прыгун, кто бегун, а кому лучше сесть за шахматную доску или согнуться в тире. Сначала с ней пытались спорить и ставить на место, как девочку, но она умела перекричать и настоять на своём, и, поскольку она всегда потом выигрывала и с большим отрывом, её уже со второй смены делали начальником штаба.

Ларочка не могла бы объяснить, что с ней происходит, когда происходит это разделение на “своих” и “чужих”. На “красных” и прочих. Важность победы для своих вдруг становилась для неё какой-то огромной, даже безусловной ценностью, и она на многое была готова. Да на всё. Почему-то с момента распределения ребят на команды все “не красные” становились для неё совсем чужими, как бы выведенными из-под действия общего дружеского закона. Не рассуждая, она готова была умереть за “красных”. За своих.

Вот она — совершенно оформившаяся семиклассница. В обтягивающей майке и синих трениках, тоже всё как надо обтягивающих, с двумя решительными хвостами на голове, быстрым зелёным взглядом. Она, конечно, ощущала постоянно сочащееся в её сторону мужское внимание. Завхоз и шофёр лагерной продуктовой машины, так те просто прицокивали языком при её появлении и произносили уже почти недвусмысленные двусмысленности, но Ларочка воспринимала эти “знаки внимания” с редкостным хладнокровием. Не оскорблялась ханжески, мол, как им не стыдно. Расценивала всё же как отличие, но не застывающее какой-то реакции.

Между тем её быстрые зелёные глаза обречены были на ком-то остановиться. И только к третьему заезду “случилось”. Уже с первого дня заезда

она почувствовала, что стремится оказаться рядом с мальчиком по имени Женья. Чем-то особенно выделялся? Да, в общем-то, нет. Длинный, с чуть наклонённой вперёд наивной головой. У него была кличка Лапоть, из-за походки. Нога выросла непропорционально быстро, как это случается сплошь и рядом, нужен был семикласснику сорок четвёртый размер ботинок.

“Пойдём собирать одуванчики?”

“Пойдём!”

“Сыграем в настольный теннис?”

“Сыграем”.

Он всегда соглашался на всё, что она ему ни предлагала, и выполнял ровно столько, сколько от него требовалось данным соглашением.

Естественно, Ларочка ждала чего-то сверх. Пройдя свою часть пути, она интуитивно рассчитывала на продолжение, может быть, даже и не конкретизируя для себя, каким ему быть. Целоваться они будут, или что-то там ещё... Женья оставался неподвижен. Даже когда бродил по берегу реки, нырял или душил ракеткой по пластмассовому шарик.

Ларочка досадовала, но не слишком, потому что таким своим поведением Женья ничего вроде бы не портил, возможность продолжения всё время сохранялась, тем более что впереди расстилались почти бесконечные солнечные просторы лагерного августа.

И вот очередная эстафета.

Накануне старший пионервожатый Леонид с удивительной фамилией Желудок — ударение на последнем слоге — предложил Ларочке как начальнику штаба своей команды прогуляться вечером. “Надо обсудить, как всё должно пройти завтра”.

Ларочка сказала, что надо собрать всех начальников для такого дела. Сказала так не только из чувства справедливости, но и из любви к атмосфере штабных посиделок, когда ребята деловито покуривают, чертят какие-то схемы на столе, лихорадочно светит лампочка под потолком палатки, вершится лагерная история...

Леонид лениво объяснил, что с этими “оболтусами” он уже перемолвился, а с ней он бы хотел заняться отдельно, поскольку чувствует особую ответственность за её “красных”.

Ларочка согласилась, ради “своих” она была готова на многое. Её не слишком смутило то, что местом важного разговора был выбрана отдалённая беседка на берегу реки, а время — после отбоя.

Светилось зеркало бесшумно бегущей воды, луна присутствовала за кронами сосен, комары то и дело вынуждали к неромантическим телодвижениям. Леонид начал издалека и солидно. Сказал, что уже давно следит за Ларочкиной работой и видит в ней перспективный кадр, собирается продвигать по рельсам интересной комсомольской работы. С этими словами он положил руку ей на левую часть лифчика. Начальница штаба “красных” осталась в полнейшей неподвижности. Она не могла решить, продолжается ли разговор о её карьерных возможностях, или это уже начался переход к чему-то другому.

Леонид, посчитав, что первый рубеж уже взят, решительно двинулся вглубь захваченного плацдарма. Он сказал, что есть мнение, что в будущем она, Лариса Конева, вполне могла бы стать старшей пионервожатой здесь в “Румлево”, и его вторая рука опустилась на колено кандидатки.

— Ах, вот оно что! — сказала начальница штаба совершенно взрослым женским голосом.

— А ты как думала! — сбросил маску Леонид, даже радуясь тому, что разговор приобретает простой технический характер. Ты мне, я тебе. До него доходили слухи, что эта Ларочка — девушка с каким-то интересным прошлым. Ничего конкретного, но всё же...

Она не стала заниматься рукоприкладством. Просто резко встала всей мощью юного крепкого тела, отчего принявший уже не вполне устойчивое положение Желудок полетел со скамьи, да ещё и под откос к реке.

Лариса молча развернулась и исчезла в ночи.

Леонид совсем не по-пионерски выматерился ей вслед, присовокупив обещание отомстить.

Сдерживать своё обещание он начал уже прямо назавтра. Выяснилось вдруг, что в лагерь не завезли красной материи, и Ларочкиному отряду пришлось выступать с чёрными повязками, и их все стали называть “похоронная команда”. А ещё была запущена, конечно же, из штаба эстафеты кличка для этой команды “жеребята”. Как ни странно, многих мальчишек это смутило. У одного срочно разболелся зуб, у второго живот. У всех прочих потухли глаза. Команда, лишённая боевого духа, обречена на поражение.

Руки у Ларочки не опустились, даже наоборот. Она внутренне закипела и одновременно сцепила зубы, провела необходимую контрработу. Встряхнула каждого, объяснила, что это диверсия, и всё потому, что “их”, “чёрных”, все бояться. “Мы назло им всем будем работать по-чёрному и победим!”

4

Сегодня Ларочка отправилась в парк. Там была назначена интересная встреча. Приехал в Гродно с концертной бригадой небезызвестный Лион Иванович. Афиша с его лоснящейся физиономией уже три дня висела в витрине Дома офицеров.

Конечно же, он пожелал увидеть родственников своей старинной подруги и однокашницы Виктории Владимировны и в хорошем столичном стиле прислал им на дом билеты на концерт.

Несмотря на всю эту галантность, Коневы не пожелали принять столичного гостя у себя дома, договорились только о встрече в парковом кафе. Надо сказать, Лион Иванович не оскорбился, и вообще он выглядел человеком, которого трудно обидеть и невозможно удивить.

Ларочка присоединилась к компании, как раз когда было подано мороженое и допита первая бутылка “Фетяски”. Но напряжение и не думало спадать.

Увидев Ларочку, Лион Иванович вскочил со своего стула, чуть ли не опрокинув его, поцеловал “даме” ручку, что ей скорее понравилось, чем смутило, и пододвинул стул. Склонил голову набок, демонстративно любуясь.

— Вы знаете, милочка, вы вылитая Виктория Владимировна. Вы-ли-та-я! Капитан кашлянул.

Нина Семёновна стала нервно рыться в своей сумочке, но ничего не могла найти, потому что не знала, что ищет.

Лион Иванович вел себя так, словно ничего особенного не происходит.

— Знаете, — кивок в сторону родителей, — это вас, наверно, обидит чуть-чуть, но у меня такое впечатление, что Ларочка ваша, как бы это сказать, напрямую, что ли, родилась от Виктории Владимировны, хотя я понимаю всю бредовость этого соображения. Но что в нашей жизни не бред?

— Я очень люблю бабушку, — сказала Ларочка казённым голосом. Ей не нравилось, что она ничего не понимает в происходящем.

Нина Семёновна встала и, кисло скривившись, заметила, что им пора. Лион Иванович опять вскочил, пинаемый бесом галантности, и кинулся было к ручке капитанши, но у него ничего не вышло. Офицер хмуро ушёл вслед за своей супругой.

Ларочка демонстративно осталась. Раз родители ей ничего не рассказывают, она имеет право узнавать сама.

— Хочешь мороженого? Или вина? — веселился Лион Иванович.

— Почему они ушли?

— Им, наверно, не понравилась новость, которую я им сообщил.

Ларочка отпила вина из бокала Нины Семёновны.

— Какую новость?

— На мой взгляд, интересную.

— Какую?

— Виктория Владимировна вышла замуж.

Ларочка осторожно, чтобы не подавиться, отняла бокал от губ.

— Вы зря смотрите так недоверчиво, дитя моё. Это правда.

— Я не ваше дитя.

— И слава Богу.

— Продолжайте, — твердо сказала Лариса.

Артист посмотрел на комсомолку с некоторым удивлением, взгляд его говорил — однако!

— За кого она вышла?

— За лейтенанта, прошу прощения, старшего лейтенанта Стебелькова.

Лариса испытала сложное чувство, не во всех его деталях она могла разобрататься. По крайней мере, в одном она было уверена, этот балбес Стебельков наказан за то, что смеялся тогда над пьяным папой.

5

После окончания школы Лариса Конева поступила на филологический факультет Гродненского пединститута. Почему именно туда? Ответить не просто. В городе были и другие высшие учебные заведения, которые могли бы претендовать на эту яркую студентку. Скорей всего, дело в том, что основное здание педагогического вуза внешне очень напоминало здание Дома офицеров, где Лариса провела такую насыщённую кружковую жизнь, оно было столько же радикально увито плющом, едва оставлявшим в своей толще небольшие просветы для окон.

Благодаря своему быстрому, схватывающему уму училась Лариса легко, играючи. С первых же дней стала вгрызаться в общественные структуры нового мира. Выбрала сразу несколько направлений. Для начала явилась в комитет комсомола и потребовала, чтобы ей что-нибудь поручили. Ей поручили, она должна была вместе с учебной частью проследить за подготовкой своего потока к выезду на картошку, этот ежегодный карнавал единения города и деревни. Она включилась в прослеживание и хорошо себя показала на этом поприще. От неё никто не увильнул, никому не удалось тихо отлынить. Хитрости юных филологов — типа фальшивых справок — она раскусывала с лёгкостью, сказывался штабной пионерский опыт.

Будучи девушкой довольно крупной, с длинными руками, плотным торсом и крепкими бедрами, она тут же попала в поле зрения сборной института по гандболу и посетила несколько занятий. В те годы, когда не было ещё ни женского бокса, ни женской борьбы, гандбол являлся единственным видом спорта, в котором спортивным девам позволялось общаться между собой по-мужски. Синяки, царапины, выбитые зубы были обычным делом не только на соревнованиях, но и во время тренировок. Несмотря на это, ряды гандбольных гренадерш не редели. И в спортзале института во время женских тренировок был слышен не только визг, но и порой боевое азартное рычание.

Привыкшая повсюду быть первой, Лариса крепко взялась за дело, тем более что физические данные позволяли. Но однажды, выходя на бросок в прыжке, она получила такой удар локтем в симпатичное личико, что грохнулась на пол без сознания. Она быстро в него вернулась, но уже другим человеком. Рассматривая быстро расцветающий синяк под левым глазом, она не плакала, она соображала. Она решила, что грубый спорт, равно как грубый физический труд, не её стихия.

Она дождалась, пока раскраска лица примет наиболее жалобный вид, явилась в деканат и объявила, что общепедagogический картофельный месяц проведёт в городе. Она и так столько сделала для мобилизации первокурсников на картошку, и теперь вот пострадала от скверной организации тренировочного процесса. Пострадала — она сделала на этом упор, — в конце концов, за институт.

Её не только поняли, хотя буквально каждый человек для картошки был на вес золота (громадный урожай 197 ... года, задание обкома, колхозы задыхаются от отсутствия рабочих рук), но и в дальнейшем ставили в пример её преданность институту, доходящую до самозабвения.

Этот поход в деканат был замечателен ещё одним моментом. Она столкнулась там с Леонидом Желудком. Он весело, по-приятельски с ней поздоровался, пригласил заходить в гости — “по-простому, по-товарищески, работали же вместе”, — правда, не сообщил, куда именно. Ларочка позднее узнала, где он работает.

6

Гандбольное повреждение оказалось не совсем безобидным. Была повреждена какая-то маленькая мышца на левой щеке. Травма была совершенно незаметна, пока лицо Ларисы не выражало никаких чувств. Но стоило включить мимику, как во всякое движение лица вмешивалась едва заметная поправка. Улыбка получалась чуть иронической, удивление слегка высокомерным, неудовольствие малость свирепым, и всё остальное — обида, восторг, скука — получало некую эмоциональную присадку. Любой собеседник невольно был вынужден разгадывать эту непреднамеренную психологическую игру, хотя за ней ничего реального не стояло. В это время Лариса спокойно добивалась того, что ей было нужно от делового разговора. Собеседник, как правило, соглашался на её условия, и даже чувствовал облегчение, когда она оставляла его в покое, получив своё. Со временем Лариса осознала и очень хорошо отточила технику мимического подавления и поняла, что на мужчин она действует лучше, чем на женщин.

Всё это выяснилось позже, а в те дни освобождения от картошки она заскучала. Выяснилось, что, оторвавшись от коллектива даже в выгодном для себя смысле, она не чувствует себя счастливой. Не дождавшись полного исчезновения синяка, она нацепила чёрные очки, купленные отцом во время крымского отдыха, и пошла по городу на поиски общения.

В Доме офицеров был ремонт.

В институтском корпусе было пустынно. Старшекурсники заседали на своём третьем этаже, и в их круг было не втиснуться. Но попалась ей одна открытая дверь, в которую входили некие люди. Оказалось, что это литературный кружок. Помещение было заставлено шкапами с колбами и непонятными приборами, на стенах висели географические карты и таблицы Менделеева. Портреты Льва Толстого и Тимирязева были прислонены к стене рядом с охапкою старых, разномастных лыж. Пахло пылью, канифолью и непонятной неформальностью. Можно было при желании подумать, что сборище это чуточку запрещено. Здесь сошлись самодеятельные институтские поэты. Первое, что бдительная подумала Лариса, — неужели они все тоже освобождены от картошки? Неужели болезнь и поэзия так уж связаны?

Она быстро поняла, что не все здесь знакомы друг с другом, большинство — новички, и успокоилась. На ней, помимо очков, были совершенно новые польские джинсы, туфли на высоченной платформе. Она, закинув ногу на ногу, демонстрировала собравшимся их размер, как уровень своей независимости. Еще на ней была чёрная водолазка с узким горлом, что, как ей казалось, делало её самой поэтической фигурой этого собрания.

Посреди склада учебного оборудования стояли свободным полукругом десятка полтора стульев. Сидящие держали на коленях кто тетрадку, свернутую в трубочку, кто стопочку листков машинописного текста. Завсегдатаи громко, по-хозяйски переговаривались. Новички бросали по сторонам затравленные взгляды.

Когда порядок почти установился, возник руководитель. Он вошёл, мягко улыбаясь, в сопровождении двух льнущих к его власти поэтесс. Терпеливо кивнул им несколько раз, дослушивая их угодливый лепет, и отослал в общие ряды.

Лариса направила на него свой невольно inferнальный взор. Потом уже она узнала, что это Владимир Владимирович Либор, выпускник столичного (Минского) института культуры, руководитель здешнего ВИА, чуть ли не лучшего в городе, и по совместительству руководитель литкружка. Он был умеренно росл, гармонично кудряв, обаятелен и одет вызывающе не по-

жлобски: фланелевые брюки, мягкий пуловер, мокасины. Лариса с содроганием вспомнила костюм преподавателя истмата, лоснящийся от многократного применения так же, как и терминология его науки, и всмотрелась в руководителя с усиленным интересом.

Он поздравил всех с началом нового сезона. Поприветствовал старых своих студийцев, улыбнулся новым и выразил надежду, что они порадуют “всех нас” талантливыми стихами.

Лариса пыталась понять, обратил он внимание на неё или нет. Делает вид, что нет. Явная игра. Она выделяется среди этих озабоченных непонятно чем девчушек с блокнотами, как чёрная лебедь в стае серых уток. Тут даже селезни серы.

Владимир Владимирович продолжал говорить, кажется, шутил, ему отвечали понимающим смехом. Поэтессы, те, что из свиты, и ещё две другие возбуждённо грызли изнутри губы, раздували ноздри и глуповато улыбались, их возбуждало лениво-интеллигентное говорение руководителя. Лариса рассмотрела каждую из них и даже сквозь затемнённые стекла определила — не соперницы.

— Ну, что же, коллеги, давайте познакомимся с нашими новыми... м-м, коллегами.

Лариса напряглась. Сейчас придётся вставать, в сидячем положении она чувствовала себя на высоте, а вот стоя... во-первых — поза! Нагло встать богатую туфлю и предъявить бедро во всей красе, или отвечать пошкольному, вытянувшись во весь гордый рост, со сжатыми коленками? Поправлять ли водолазку, она всегда чуть собирается на животе, или лучше позволить себе эту небрежность?

Тем, что у неё нет с собой никаких тетрадок ни с какими стихами, она не была смущена нисколько. Спросят, сплетётся само собой какое-нибудь объяснение.

Новички вставали по очереди, представлялись. Кто-то бормотал под нос два слова и садился, кто-то “преподносил себя” оригинальным речевым поворотом, а то и четверостишием.

Лариса тут же клеила им клички. Девушка в круглых очках и двумя огромными передними резцами, которые не укрыть даже специальным усилением верхней губы, — “Заяц”. Две тихо восторженные подружки — “Лисички”. Чтобы не продолжать лесную линию, хлопца с широким, в непонятных шпрамах лицом, она назвала “Ромштекс”.

Встал приземистый, в чёрном свитере парень-мужчина. Из выреза торчала бледная шея, с большой квадратной головой, похожей на совиную. Большие, круглые глаза, белые круги вокруг глаз. Он сказал, что работает на стройке, но что для него стихи — “это очень серьёзно”, и почувствовался укор в адрес остальных, как бы заподозренных, что их сочинения — баловство.

“Прораб”, — сказала себе Лариса и отвернулась. Ей казалось, что он в каком-то смысле её передразнивает — бледные круги вокруг глаз, как будто недавно тоже носил чёрные очки.

Владимир Владимирович был любезен с каждым, могло показаться, что он просто ошачливлен явлением нового таланта. Даже если он не из недр пединститута, а со стройки.

Лариса была довольна тем, как она встала, её взбодрило явное неодобрение со стороны “Лисичек”, они своим животным нюхом сразу учуяли большую опасность для себя со стороны загадочной дыды с драпированным взглядом. Владимир Владимирович и ей уделил порцию своей любезности, как и всем, но Лариса была убеждена, что улыбка и мягкая речь, обращённые к ней, имели отдельный, специальный характер. Интересуетесь поэзией? Оставайтесь.

После представления должно было начаться настоящее знакомство. То есть чтение стихов. С немедленным их разоблачением путем перекрестной и безжалостной оценки. Тут уж было не до любезностей. Ларисе эта процедура показалась очень странной. Было видно, что каждый куплетист представляет на всеобщее глумление что-то очень заветное и очень страдает, когда ему говорят гадости об этом заветном.

Пожалуй, только один смысл был в этом авторском всетерпении — каждый в свою очередь превращался из жертвы в палача. И уж тут отыгрывался по полной.

Девушка-“заяц” после “знакомства” с собратьями по цеху сидела в обморочном состоянии, зажмурив за толстыми стеклами испуганные глаза. “Ромштекс” превратился в бифштекс с кровью и шумно, мстительно дышал.

“Лисички” были из завсегдатаев, они схитрили, сказав, что отдали уже стихи прямо Владимиру Владимировичу, потому что их “надо читать глазами”.

Руководитель кивнул, чем вызвал укол ревности в Ларисе. Оказывается, у этих шустрых штучек есть связь с красавцем в пуловере, которой она сама никогда не сможет воспользоваться. Она не успела углубиться в эту неприятную тему — встал “прораб”.

Он стал читать не сразу, он обвел присутствующих тяжёлым, как бы предупреждающим взглядом. Ему было лет двадцать пять, он по возрасту мало уступал самому руководителю, и по движениям его было видно, что на плечах его квадратной фигуры осел уже немалый жизненный опыт. Он тут же подтвердил это впечатление. Голосом негромким, но напряжённым, готовым вот-вот прерваться, он поведал, что стихи, которые он сейчас прочтёт, это не просто стихи.

— То есть? — вежливо поинтересовался Владимир Владимирович.

“Прораб” сказал, что они — “плод тяжёлых и страшных раздумий”, ибо совсем недавно он, Валерий Принеманский, осиротел.

— У вас умерли родители?

“Прораб” едва заметно, но совершенно презрительно улыбнулся в ответ на это замечание предельно благополучного в этой жизни руководителя.

— У меня погибли жена и дочь, при родах, месяц назад. От потери крови. Я потерял всё, что у меня было... Я прочту стихи. Прошу учесть то, что я сказал. — Надо было понимать, что никакой не может быть критики при таком деле. Ещё не запеклась рана.

В душе Ларисы опять что-то царапнуло. И опять как-то по-новому.

“Прораб” стоял довольно далеко от неё. Ларисе захотелось снять очки и рассмотреть несчастного, она вовремя спохватилась и лишь поправила их. С удивлением обнаружила, что сидящие вокруг кривят губы и морщат носы. Всеобщая ироническая реакция показала ей несправедливо жестокой. И она начала усиливаться, когда Валерий Принеманский стал произносить свои трагические строки. Стихи его... нет, она не могла определить, насколько они хороши или плохи. Они, в общем, были похожи на то, что читалось до этого. По звуку, по словам, но они резко отличались от всех остальных тем, что за ними стояла подлинная боль. У них у всех этого не было, а у него было, и поэтому они отторгают его, весь этот самодовольный “зверинец”, эти “зайцы”, “лисы”...

Закончив чтение, “прораб” сел, и стало заметно, что он сидит теперь более отдельно, чем до этого. Вокруг него возник некий вакуум. И он сидел, независимо закинув ногу на ногу, с непроницаемым лицом, со своим высказанным, но не понятым страданием.

Владимир Владимирович совершил ошибку. Ему следовало бы просто двинуться дальше по поэтическим рядам, поднять ещё одного новичка, но он счёл необходимым сказать несколько слов в адрес только что услышанного. Конечно, мягких, конечно, ободряющих, но это вызвало на лицах студийцев отвратительно понимающие улыбочки. Они “понимали” друг друга — душа-руководитель и его секта. Они были благополучно вместе, а “прораб” был трагически один. Да ещё с мёртвой женой и дочкой.

Когда всё закончилось, и “прораб” ушёл, явно решив, что он здесь чужой, Лариса боялась, что начнётся нечто вроде вакханалии насмешек. Однако ничего подобного не произошло, все только пожимали плечами и тихо обменивались фразами на самые разные темы, вроде бы и не касающимися “прораба”, но Ларисе казалось, что тем самым они ещё злее, ещё окончательнее втаптывают его в грязь. Притворное великодушие, наигранное желание понять — это ещё отвратительнее, чем прямое глумление.

Владимир Владимирович, конечно, тоже не опустился до трусливых ос-трот вслед изгнаннику, он только улыбался своей улыбкой, которая стала Ларисе отвратительна. Он грустно сказал:

— Я думаю, этот молодой человек у нас больше не появится, коллеги.

Лариса встала, уже, кстати, не думая, в каком состоянии её джинсы и водолазка, и решительно направилась к выходу. Тут Владимир Владимиро-вич обратил на неё внезапное внимание.

— Да, коллега, мы же вас-то так и не выслушали. Пожалуй, в следую-щий раз, да?

— Это вы калека, а не я, а я-то у вас тут уж точно больше не появлюсь.

7

Ей было плевать, какое она произвела впечатление на эту публику. Ко-нечно, дурнушки из “гарема” рады, что избавились от конкурентки, а о том, что творится в кудрявой голове самого Владимира Владимировича, ей и во-обще не хотелось думать. Не говоря уж о прочих бездарях.

И ещё раз задалась вопросом — почему вся эта толпа тут поэтически без-дельничает, когда весь народ в поле?!

Она пошла в деканат. Там её выслушали. Поблагодарили за сигнал. Оче-щали разобраться. Она сказала, что проверит, каковы будут результаты раз-бирательства.

Вторая встреча с “прорабом” произошла непреднамеренно, внезапно. Она стояла на остановке, поджидая автобус, когда вдруг услышала сзади стук яростно закрываемой двери и звуки неприятного нервного голоса, что были вроде бы знакомы. Обернулась. Он, то есть “прораб”, шёл “сквозь ве-тер мира”, пытаясь намотать на бледную, незащитную шею развевающий-ся шарф и размахивая, как огромной ладонью, канцелярской папкой. Он только что покинул голубенький домик-музей пани Ожешко, где по совме-стительству располагалось правление Гродненской писательской организации. Судя по всему, его там поняли ничуть не больше, чем на недавнем семина-ре, и он был очень возбуждён по этому поводу.

— Здравствуйте, — кинулась к нему Лариса.

Он посмотрел на неё взбешённым и одновременно несчастным взором. Но она была в себе уверена, в этом новом сером пальто и итальянских са-пожках, она не могла слишком долго оставаться неуместным объектом в вос-приятии даже очень раздражённого мужчины. Она чувствовала в себе спо-собность немедленно начать приносить психологическую пользу, какого бы размера ни была душевная рана, полученная сейчас этим человеком.

Поэт остановился.

Лариса улыбнулась.

Он сказал:

— И что с того, что он ходил через государственную границу, в Бело-сток, чтобы добыть документы в контрразведке, что он не предатель! Пусть он герой, но уже давно не война!

— Конечно, — сказала Лариса.

Ей понравилось, что голос у проклятого поэта немного изменился. Он приобрел трагическую хрипловатость, отчего в нем прибавилось мужествен-ности, но усилилось и опасение, что прервётся навсегда. А с этим голосом погибнет, возможно, и сам человек.

— Ты кто? — сурово спросил он.

Трудно найти подходящий и короткий ответ на этот вопрос.

— Я слышала ваши стихи.

Он, наконец, укротил свой развевающийся, как свободная мысль, шарф.

— А-а, ну пошли.

Вокзальный ресторан, абсолютно пустой в этот час. Фикусы в кадках, зевающие официантки в наколках. В углу небольшая барная стойка. Пова-рихи гремят противнями где-то на кухне. Ларисе понравилось, что поэт не стал пить водку, как сослуживцы отца, или того хуже — креплёное вино,

которое предпочитали её однокурсники. Пятьдесят граммов коньяка и конфетку. Девушке — сок.

— Абсента у вас нет? — спросил он у бармена.

Тот с достоинством улыбнулся и поправил бабочку.

— Прошу прощения, вы меня уже спрашивали. Вчера.

Выпил полрюмки и откусил четверть конфетки, из чего Лариса сделала вывод, что рюмка будет не одна. Видимо, велико огорчение этого поэтического сердца.

— Так ты кто? Ах, да. А кто я — знаешь?

Лариса замаялась. Ей было что ответить на этот вопрос, но она понимала, что если она всё назовёт своими именами — вы гонимый, непонятый, ни на кого не похожий человек, — она как бы сразу сдастся в плен ему, выложит весь свой запас и ресурс. Ведь неизвестно, пришло ли уже время для таких откровений, и чем это может для неё обернуться.

Прораб спросил вторую рюмку и выпил её, внимательно глядя на свою неожиданную знакомую. У него был странный взгляд. Бледность вокруг глаз придавала его взгляду и чуть-чуть нездоровый, и вместе с тем породистый характер. Лариса опять подумала, что он долго носил чёрные очки во время солнечной погоды, и вспомнила о своём синяке и о своих чёрных очках. Не может же это быть совсем случайным.

— Вы гонимый, никем не понятый, ни на кого не похожий человек! — произнесла она со значительно большей серьёзностью и силой, чем это было у неё в мыслях.

Поэт даже не стал откусывать от конфетки и сразу потребовал третью рюмку.

Но тут вмешался бармен в бабочке и сказал, что больше в долг он отпущать не может.

Поэт иронически усмехнулся, не в адрес работника торговли, а в адрес своей непутовой судьбы. И тут вырвался из сумочки кошелек Ларисы, готовый на всё ради третьей рюмки для огорчённой души.

“Прораб” покровительственно усмехнулся и отверг жертву. Сказать по правде, Ларисе было бы не очень приятно, воспользуйся он её стипендией, но она сочла бы этот поступок в рамках романтических правил, по которым живут гонимые и отвергнутые. Но то, что поэт не воспользовался её кошельком, оказалось ещё более неприятно, хотя и как-то по-другому. Получалось, что он её куда-то не пропустил. Как же так, она уже совсем готова была возглавить движение за понимание его как личности и художника, а он воздвигает стену вульгарной вежливости.

— Пойдёмте отсюда, Киса. Мы чужие на этом празднике жизни.

Она не поняла, что он этой фразой влил её в пошлый литературный контекст. Она не была подвержена общеинтеллигентской моде тех лет на Ильфа и Петрова, она была девица классической ковки. Бедная Лиза, бедная Татьяна, бедная Наташа — вот это была её компания. Но она почувствовала женским чутьём, которое сильнее литературного, что её уже что-то связывает с этим замечательным человеком. И дело в не пошлом факте — он назвал её Кисой, то есть ласково. Нет, тут другое. Какое? — пока не ясно.

В тот день они расстались, даже не договорившись встретиться вновь.

Она потом себя казнила — дура! Что было цепляться за остатки девичьей кичливости. Ах, я не такая, я жду, когда меня засватают. Он выпил, он задумался, взнуздан был везапной музой, чего от него ждать рациональных решений!

Всё придётся делать самой.

8

Тогда в центре городов вывешивали доски антипочёта. Кто-то напился, наскандалил...

И вот на одном таком стенде у стадиона она заметила узнаваемую физиономию. Кстати, фотография была вполне приличная, “пан поэт” выгля-

дел на помещённом снимке фигурой скорее несчастной, чем отвратной. Сопутствовавшая подпись — “тунеядец, дебошир” и т. п. — нисколько не выходила за рамки уже создавшегося в её сознании образа страдальца. Единственное, что смущало, он именовался там не поэтом Принеманским, а сварщиком Перковым. Принеманский — псевдоним, догадалась Лариса.

В милиции легко, без глупых вопросов и сальных намёков выдали адрес сварщика Перкова.

На секунду она смутилась. Ей предстояло покинуть ухоженную, вымощенную гладким булыжником территорию и отправиться в дикие места огромных котлованов, ревущих тракторов, пыльных самосвалов, мужчин в промасленной одежде с папиросами и сомнительными комплиментами в зубах.

Но разве это препятствия для настоящего женского характера? От конечной остановки третьего троллейбуса до того самого общежития она отправилась по обочине грузовой трассы, преодолевая искусственную, поднятую машинами метель.

Вахтерша, с ужасом оглядев её дублёнку и причёску, назвала номер комнаты. Лариса демонстративно уверенным шагом поднялась на третий этаж. Разумеется, “его” комната была в самом конце коридора, можно сказать, на отшибе, её окно выходило не в фасад, а в торец здания. Он и здесь в толпе работяг, умудрялся поддерживать состояние относительного одиночества.

Пальцы тряслись, это надо было признать, и тогда Лариса сжала их в кулак, чтобы унять дрожь, и постучала в дверь кулаком. Звук получился тяжёлый, напористый, можно сказать, властный. Дверь была поцарапана, а замок раз пять отремонтирован, из чего Лариса заключила, что к нему часто вламываются в жилище. Может быть, и женщины. Почему-то и этот вывод пошёл в плюс поэту.

Перков открыл. Он был гол по пояс, в трениках и тапочках. У него было удивительно белое тело, такого же цвета, как кожа вокруг глаз. Оказывается, только лицо темнеет от жестокого сварочного труда и непонимания окружающих.

— Я думал, это комендант, — объяснил он, хотя ситуация в объяснениях с его стороны не нуждалась.

— Можно войти? — с вызовом спросила Лариса.

— Садись.

Из мест, для этого подходящих, имелся только табурет и узкая, примитивная кровать. Нет, кровать — это было бы слишком для начала, решила Лариса и села на табурет. Рядом с ним на тумбочке стояла удивительная вещь — пишущая машинка. Своим чёрным, технически выпреним обликом она выделялась среди прочих местных вещей как породистая иностранка.

— Меня хотят выгнать, — начал объяснять Перков. — Сначала уволили со стройки. Теперь, говорят, освобождай помещение. Обещали, что придут с милицией. — Поэт развёл руками, показывая, что он прощает миру его абсурдность. Он уже надел рубашку, и чем больше пуговиц он на ней застегивал, тем больше в нем появлялось интеллигентности.

Лариса открыла сумочку, защищавшую колени, и достала оттуда бутылку коньяку, украденную из отцовского бара. Почему коньяк? Она хотела протянуть ниточку связи к тем трём вокзальным рюмкам, показать, что у их отношений уже есть история.

Перков повел себя блестяще, он не застыл в идиотском обалдении, как природный сварщик. Не расплылся в самодовольной улыбке польщённого самца. Он просто взял бутылку из рук дамы, потому что ей там не место, вынул из тумбочки два по-разному элегантных, хотя и не коньячных бокала, изящно надломленное песочное пирожное на блюде и сервировал уютное застолье.

Коньяк солидно наливался в бокалы, как будто понимал, сколько в нем заключено роскоши человеческого общения. Ларисе хотелось пить, и она думала о коньяке только как о напитке.

— Что обидно, это ведь не в первый раз. По тем же причинам я должен был уехать из Омьян. Родной город словно выплюнул меня. Теперь снова на улице. В ночь, в метель, вот как он. — Перков ткнул пальцем в фотографию кудлатого мужика с высоченным лбом и бантом на шее. Лариса из

поэтов могла узнать по внешности только Есенина и Пушкина, поэтому промолчала. Хозяин поднял бокал, поправил цветок в вазочке, что стояла на подоконнике (Ларису очень тронул тот факт: зима, общага и тюльпан!), и предложил:

— Вышьем!

Обожгло небо. Жажда только усилилась.

— Тебя как зовут-то?

— Ларочка, — сказала гостя неожиданно жалобным голосом.

Сварщик быстро налил себе ещё граммов восемьдесят, выпил не чокаясь, приветав, ткнул пальцем в выключатель. И начал быстро расстегивать рубашку, которую перед этим так тщательно застегивал.

9

Обнаружив пропажу “Ахтамара”, капитан Конев всё понял. И встретил дочь вопросом:

— Кто он?

Чувствуя по тону вопроса, что отец не будет доволен никаким ответом, Лариса ничего не стала объяснять. Просто проследовала в свою комнату. Отца она любила и не боялась. Относилась к нему лучше, чем к какому бы то ни было другому мужчине, но слишком точно знала схему его устройства: попыттит и смирится.

Не сегодня, так послезавтра.

Утром она оставила на видном месте свою зачётку — она отливала пятёрочным сиянием, а рядом лежал красиво упакованный галстук с открыткой, пояснявшей: “С первой повышенной”.

Не дожидаясь реакции отца, которую она и так отлично себе представляла, Лариса уехала скандалить к директору общежития. Заготовила превосходную речь, даже две речи, первая модификация — от имени комсомольской фурии, другая — от царевны Несмеяны. Слезы тоже форма демагогии, она это знала, хотя и не любила применять этот прием. Она была уверена, что никакой в мире директор не сможет объяснить ей, на каком основании он станет выгонять на мороз гения с пишущей антикварной машинкой. Пусть даже этот гений давным-давно ничего не варит для комбината и платить за проживание отказывается. Для полноты победы, которую она собиралась одержать, она решила объявить этому держиморде, что он должен будет также смириться с тем, что углый пенал в общежитских пенатах будет посещаем ею, отличницей, комсомолкой, активисткой Ларисой Коневой, в любое время по её усмотрению, и пусть только кто-нибудь зайкнётся насчёт советской морали в этой связи.

Директор обитал на первом этаже в небольшом “аппендиксе”, где на стенах висели феерически лживые графики, по-прошлогоднему покосившаяся стенгазета, а на стульях сидело человек шесть измождённых неизвестностью жильцов. Лариса прошла мимо них, как бригантина мимо лежбища дохнувших котиков, даже не отвечая на жалобный рёв этих бытовых животных.

И вот она в кабинете.

И вот она вылетает из кабинета.

Кто же мог знать, что вместо неизбежно улещаемого или запугиваемого административного бугая она наткнётся на угрюмую, рябую надзирательницу с банкой горчицы вместо сердца.

Ладно, зайдём с другой стороны, сказала себе Лариса, и зашла. Вечером того же дня.

— Кто у нас будет жить? — взвился успокоившийся было отец.

— Человек, которому надо помочь.

— Ты выходишь замуж?

— Я ещё не решила.

— Подожди, даже если бы уже решила...

— Папа, — сказала Лариса, и на щеке у неё задержалась гандбольная жилка.

— Ты давно с ним знакома?

— Несколько дней, но это не играет никакой роли.

Капитан пошёл к холодильнику и там выпил две рюмки водки, одну за другой, зная, что сейчас-то женщины ему и слова не скажут.

— Кто он?

— Это удивительный человек, ты сам это увидишь.

— Ну, хотя бы месяц, ну, полгода вы встречались, я бы...

— Нельзя ждать полгода, папа. И месяц нельзя.

— Почему?

— Его завтра уже выгонят из общежития.

— Почему?

— Потому что до этого его выгнали с работы.

Капитан закашлялся, а потом захрипел.

— Папа, выпей ещё водки.

Преодолев таким образом отцовскую преграду, Лариса обернулась к матери...

Лариса надеялась на лучшее, но лучшего не случилось. Капитан Конев через полчаса беседы с поэтом выгнал его из дому, даже не допив его водки.

Лариса знала, когда можно и нужно надавить, а главное — на кого. Сейчас давить на отца было не нужно, нельзя. С поэтом Лариса явилась на работу к матери.

— Мам. — Она слегка дернула Нину Семёновну за руку. — Ничего не поделаешь.

— Чего не поделаешь? — мрачно, неприветливо спросила мать.

— Придётся ему, — она ткнула пальцем в поэта, — искать место у тебя.

— Где “у меня”, ты очумела?!

— В госпитале...

— И вправду очумела!

— Но ты же не хочешь, чтобы я лишилась мужа.

При слове “мужа” сварщик потупился, ему казалось, что сейчас назвали слишком большую цену за то жилье, которое ему, возможно, подыщут, но все его вещи сейчас валялись в предбаннике общежития, и ему обещали, что уже вечером они будут валяться на улице в снегу.

Лариса повернулась к сварщику.

— Я же тебя просила не читать отцу стихи. Он офицер, он не поймёт.

Поэт развёл руками.

— Я читал переводы. Гонгору.

10

Сестра-хозяйка — лицо влиятельное в госпитале и посвящённое во все материальные обстоятельства заведения. Окружной госпиталь располагался на обширной территории, обладал множеством укромных уголков, и Нине Семёновне не надо было особенно ломать голову ради того, чтобы найти приемлемую нору для “зятя”. Во флигеле неврологического отделения имелась конурка с отдельным входом, с койкой, тумбочкой и этажеркой, так что всё имущество сварщика обрело привычные для себя условия существования.

Нине Семёновне поэт тоже не глянулся, но, правда, не до такой степени, как мужу. Она разрешила ему курить в форточку и показала ту дыру в ограде, через которую выздоравливающие бойцы бегали в самоволку. Через неё же проникала на территорию и Лариса, когда ей особенно не терпелось добраться до спасаемого ею мужчины и не хотелось тащиться лишних два квартала до КПП. Хотя там её пропускали беспрепятственно и даже приветственно, зная, кто её мать. Так началась их “семейная” жизнь.

Самым важным было духовное единение. Сварщик всё время рассказывал о своих несчастьях, о своей незавидной, жестокой судьбе, а она разнообразно мечтала о том, какими способами и с какой энергией она будет бороться против всех этих чёрных сил.

Перков происходил из довольно родовитой по советским меркам семьи. Отец его был заместителем директора совхоза-техникума в Будо-Кошелеве, теперь, правда, сидящего за какие-то подло приписанные ему растраты. Единственный ребёнок в семье, поэт ни в чём не знал отказа: первый в поселке магнитофон, лучший мотоцикл, волосы до плеч, возможность поступить по благу в БИМСХ (институт механизации сельского хозяйства) и бегство отсюда. Лихая, богемная районная жизнь. Танцплощадки, общежитие кооперативного техникума. “О, ночная жизни!” Лариса слушала, чувствуя мучительную работу разбуженного воображения. Скажем, ночная жизнь Парижа — это что-то банальное, предсказуемое (кафешантаны и канканы), а вот ночная жизнь Будо-Кошелева, это пьянило!

Потом Перкова накрыла страстная любовь.

Лариса из деликатности собиралась вообще не касаться этой темы, но очень скоро стало понятно, что сварщик без этой темы не мыслит себе общения. Данута и Рогнеда. Имена умершей жены и не родившейся дочери. Когда он в первый раз рассказывал, как добивался, чтобы ему сказали, кого он потерял, дочь или сына, то не выдержал и разрыдался. Лариса легко разрыдалась с ним вместе.

— А потом я бежал, бежал от этого кладбища. Куда угодно, куда глаза глядят, хоть на стройку!

Лариса всё время мечтала добыть ему абсента, чтобы по всем правилам залить поэтическую рану, но этого напитка не могла достать даже мама, несмотря на все свои медицинские связи.

Тогда же он начал писать стихи. Всерьёз. Потому что до этого всего лишь баловался, сочинил лишь слова для пары песен местного ВИА.

— Теперь ты понимаешь, почему меня бесит, когда их не принимают и нигде не хотят печатать?

Еще бы ей не понять. Она хотела сказать ему, чтобы не волновался, она добьётся, чтобы его напечатали, но сдержалась, понимая, до какой степени не знакома ей эта область жизни. Как знать, какие там действуют правила. Но, чёрт возьми, должна же и там быть хоть какая-то справедливость!

Потом он начинал ей читать свои, как он говорил, тексты, и ей нравилось это слово, оно как бы заведомо выделяло читаемое из числа обыкновенных стихотворений, какие сочиняли другие, разрешённые авторы.

Будучи в самом полном смысле комсомолкой, активисткой, советской девушкой, она пьянела от сознания, что напрямую общается с источником какой-то таинственной “неразрешённости”.

Свою компанию по продвижению творчества сварщика она начала с перепечатывания его текстов на машинке. Поэт потягивал пиво, держа на весу кисти сильных, обожжённых сварочными огнями рук, выскивая нужную, но всегда неуловимую букву. За окном метель. Идиллия.

Следующий шаг — институтская стенгазета. Редактор этого издания, тайне симпатизировавший стройной, решительной Ларе, прочитав то, что она ему всучила, заскучал. Лариса, отставив крепкую, очень уверенную в себе ногу характерным атакующим движением, вперила в него презрительный взгляд, говоривший: не согласишься — уничтожу морально. Он стал длинно и как-то аляповато оправдываться. Мол, у них выпуск ко дню Советской Армии, а предлагаемая поэма называется “Мои любовные поражения”. “Кстати, почему здесь через мягкий знак, не в размер?” Лариса знала почему, это была её личная опечатка, но признавать свою ошибку она не собиралась.

— То есть не вставишь?

Годунок, так звали редактора, душераздирающе вздохнул.

— День Советской Армии!

— У меня отец — капитан, — сказала проникновенно Лариса. — И я получаю тебя понимаю, что нужно солдату в день его армии. Ты же вон отмазался.

— У меня астма, — тихо просипел редактор, как будто был уже в состоянии приступа.

— Врёшь ты всё!

Лариса сказала это просто так, но Годунок испугался. Он вспомнил, где работает мать Ларисы, в госпитале, а именно там ему выдавали белый билет в связи с редким геморроидальным недугом. Он слишком не хотел, чтобы все в институте узнали, насколько он врал про астму. Он взял из её рук листки, которые только что вернул.

— Но двести строк!

Лариса только усмехнулась, потрепала его по щеке и отправилась на следующее задание, которое сама себе дала.

Надо сказать, что дальше дело пошло ещё туже, чем со стенгазетой. Повсюду её отфутболивали. И в областной газете, и в многотиражке химкомбината, и в редакции “Понеманья”, спорадически выходящего областного альманаха. Даже пугливый партизан из дома Ожешко проявил неожиданную твёрдость и заявил, что никогда, ни при каких обстоятельствах он не станет спонсировать этому бездарному трутню Принеманскому.

Она понимающе кивнула.

— С завистью бороться труднее, чем с немцами.

Оставив старика в состоянии сердечного приступа, она направилась в последнюю литературную инстанцию города. К Василию Быкову. Всесоюзная знаменитость должна была навести порядок среди мелких областных завистников.

Он оказался в отъезде.

Выслушав историю её хождения по мукам, сварщик приглубил свою деловитую музу и успокоил, сказав, что по-другому и быть не могло. Она не поняла.

— А что тут непонятного? Ты с кем говорила, назови ещё раз фамилии: Годунок, Данильчик, Михальчик, Коник. Они все тебе отказали.

— Раньше мне отказывали только злые тётки в общаге.

— При чём здесь тётки? Они все белорусы.

— И что?

— Они занимают, Лара, все ключевые посты в областной номенклатуре, в культуре в частности. Тихий заговор, грибница, понимаешь?

— Нет.

— Я, например, русский, но не просто русский, я наполовину болгарин по матери, но не в этом сейчас дело. Я русский, и за это меня душат, не дают прорваться. Белорусы многого не могут простить русским.

Лариса смотрела на возлюбленного всё же с некоторым недоверием.

— Чего не могут?

— Ну, например, грубой, безапелляционной русификации. Ты не обращала внимания, что в Белоруссии школы на белорусском языке есть только в деревнях, а в городах всё образование на русском. То есть любому белорусу даётся понять, что место его в деревне, в его вёске, сиди и не рыпайся. А националисты учат русский, выбиваются в люди, вспоминают свои корни, закипает задавленная обида, и они начинают, где возможно, сопротивляться русской культуре, тащить своих.

— Но повсюду же печатают и русских сколько угодно.

— Так для этого нужно быть не просто русским, а разрешённым русским. Если бы я сочинил что-то о партии, о Ленине, попробовали бы они мне отказать. Но стоит начать воистину творить на русском языке, вот так откровенно, беззащитно, сразу — получай!

Всё сообщённое настолько потрясло воображение Ларисы, что она даже осталась ночевать у “мужа”. Долго не могла заснуть, а, засыпая, видела какие-то фантастические сны. Она никогда не смотрела на жизнь с этой точки зрения, она всегда жила там, где было полно разных людей — поляков, евреев, русских, белорусов, и национальные различия между ними никогда не были предметом её размышления или домашнего разговора родителей. Единственно, в чём она отчётливо ощущала своё явное своеобразие, это военное, гарнизонное, в том смысле, что не абorigineенское происхождение. Да, в ней есть офицерская кровь. Да, однажды в детстве её испугала цыганка, и вот цыганскость тоже, пожалуй, была для неё чем-то отдельным, не об-

щим со всеми остальными людьми. Да, цыгане и офицеры — люди особые, но по-разному. Офицеры на её стороне, а цыгане, скорее, нет.

Так сразу вслед за отказом от своей невинности Лариса стала обладательницей русскости. И всё, в общем-то, благодаря мужу. То, что надо бороться с тайным, ползучим партизанским белорусским национализмом, она уже приняла как данность.

Был и ещё один фронт непрерывной работы — отец. Капитан Конев обрабатывался неутомимо. Лариса вздыхала, расписывая ужасы существования непризнанного поэта, заброшенного злой судьбиной в чужой город.

— Так ты что, с ним встречаешься?

— Да.

— Где?

— Мы гуляем в парке.

Капитан скрипел зубами, но не мог же он и это запретить.

— Доча, он же дрянь, ничтожество, обмылок, а не человек.

Разумеется, отцовские слова производили эффект обратный желаемому.

Лариса долго думала, какую бы подвести мину под оборонительную систему отца. И однажды додумалась. Забралась к нему в стол во время его дежурства и отыскала там потёртую общую тетрадь, куда Николай Конев ещё с тех времён, когда он только готовился поступать в училище, записывал умные и парадоксальные фразы по поводу военного дела. В основном, конечно, это были цитаты из чужих трудов. Но затесалось меж ними и несколько оригинальных мыслей молодого офицерского ума. Лариса выбрала парочку, не вдумываясь в смысл, написала крупно гуашью на плотной бумаге и повесила у себя над столом. Решила, что если папа спросит — откуда? — скажет, что это осталось у неё в памяти от их давних душевных бесед.

“Сила + культура = офицер”, “Война — это достижение справедливости силой”, “Хочешь проиграть войну — начни её!”

На капитана эта диверсия произвела очень сильное впечатление, он заиспугался и скрылся на кухне.

— Еще немного, и мы переезжаем к нам, — сообщила Лариса Перкову.

Но вот как быть с публикацией? Годунок поклялся, что сделает, но до 23 февраля была ещё целая неделя.

И тут судьба сама пошла ей навстречу. У кинотеатра “Гродно” она столкнулась нос к носу с Леонидом Желудком. Он обрадовался встрече и даже с ходу взял свой обычный самодовольно фатовской тон, что Ларису не удивило. Удивило другое, что он резко, посреди разговора, без всяких внешних причин свернул уже начатую обольстительскую компанию.

Как бы внезапно опомнился.

Даже оглянулся по сторонам — не видел ли кто-нибудь. Видимо, были причины внутренние. До них Ларисе не было дела, она вся сосредоточилась на той мысли, что Леонид работает в том самом доме, что недалеко от Советской площади, в “комитете”, как тогда говорили. Не важно, на какой должности, важно, что он сам, помнится, предлагал ей помощь в случае чего.

— Лёня, нам нужно серьёзно поговорить!

Он испуганно заморгал и сделал полшага назад.

— Я приду к тебе, какая комната?

— Никакая.

— Говори, Лёня.

— Может быть, прямо здесь?

Он сделал ещё шаг назад. Представитель власти явно боялся представителя народа.

— Что я тебе, уличная девка? — возмущённо сказала Лариса. Она имела в виду, конечно, не совсем то, что прозвучало. Она хотела сказать, что заслуживает того, чтобы её выслушали в кабинете, а не на проезжей части. Мелкий сотрудник областного управления КГБ Леонид совсем по-другому понял прозвучавшую фразу. И сообщение это понахивало чем-то скандальным, тем, чего он должен был по своему нынешнему положению тщательнейшим образом избегать. Он собирался в самое ближайшее время жениться на дочери одного из секретарей обкома и уже успел понять, каких строгих пра-

вил семейство, в которое он надеется войти. Старые, комсомольских времён ухватки придётся отставить. Опасно каждую активистку рассматривать как наложницу.

Леонид быстро огляделся, не наблюдает ли кто за разрастающимся скандалом.

— Хорошо. Приходи. Но через две недели. Командировка.

— Я не забуду, Лёня.

— Утром. Как можно раньше.

Выслушав сообщение Ларисы о страшном белорусском заговоре против русской поэзии, он чуть не разрыдался от смеха в своём кабинете.

— Что с тобой? — спокойно спросила Лариса, не собиравшаяся шутить или смущаться.

— Это бред, понимаешь, абсолютный, клинический, махровый бред. Уж чего нет и не может быть в природе — так вот этой “грибницы”, этой “партизанщины”. Ну, поляки как-нибудь втихую, ну, евреи само собой, но чтобы белорусы задумали... — Он рухнул на стул, стирая слёзы с великолепно выбритых щёк.

Лариса смотрела на него как на недоумка, временно имеющего возможность порезвиться, но неприятные известия уже в пути.

— Ты хочешь сказать...

— Я хочу сказать, что белорусы — они те же русские, только лучше. Добрее, толковее... Ни тени самостийной дури. Скорее Москва отделится от России, чем Белоруссия.

— Ты хочешь сказать, что мой муж... — Она сознательно усугубляла ситуацию.

— Так значит, этот Перков тебе муж? — Желудок произнес этот вопрос настолько уничижительным тоном, что Лариса ослепла от ярости, надо было во что бы то ни было ответить!

— Не только муж, но и отец моего будущего ребёнка!

Лариса свято верила в момент произнесения этих слов, что так оно и есть.

Леонид не сдержался, по молодости, из-за укола понятной мужской обиды. Лариса ему искренне нравилась, но у него ничего не вышло, а у этого... Перкова вышло, да ещё и так далеко зашло.

— Хочу тебя обрадовать, ты замужем за идиотом!

— Мы пока не женаты.

— То есть как не женаты? Ты же сама говорила — муж. Впрочем, какое мне до всего этого дело?

— Ты должен позвонить в “Понеманье” и Варивончику.

Леонид помотал головой, отгоняя страшный сон.

— Ты хоть понимаешь, куда ты пришла?!

Лариса усмехнулась.

— Я-то как раз понимаю. А ты понимаешь, где работаешь?

— Давай пропуск.

— Зачем?

— Чтобы ты могла выйти отсюда.

— Ты меня выгоняешь?

Леонид испугался, что она сейчас заявит, что никуда не уйдёт. Он попытался обратиться к логике, мол, даже если бы он и хотел помочь, то не может, он работает не в том отделе, который ведаёт прессой, и всё такое.

— А в каком ты отделе?

— Ну, знаешь...

Лариса встала со стула.

— Хорошо, я уйду.

Она открыла дверь и, уже стоя в проёме, сказала:

— Но подумай, что будет с моим несчастным ребёнком!

И исчезла.

Леонид вылетел следом. В предбаннике сидело человек пять, и все они видели его красное лицо.

Увидевшись с “мужем”, Лариса сообщила, что всё будет хорошо, и произойдёт скоро.

— Всё? — спросил поэт со странным выражением голоса.

Да, уверенно подтвердила Лариса. И стихи пойдут в печать, и отец вот-вот смирится с переездом избранника дочери в их хорошую двухкомнатную квартиру по улице Карла Маркса.

— Ты удивительный человек, Ларочка.

— Я знаю.

Капитан Конев сдался.

Сразу вслед за Годунком. Тот дал в своей газете “Мои поражения” и слёг с приступом геморроя, так что шокированному начальству сначала было даже не на кого обратить своё удивление.

— Ладно, — сказал капитан, — поехали.

Он, конечно, уже знал, где обретается “жених”. В конце концов, каким бы куском дерьма ни был будущий зять, Ларочка сделает из него человека. Будем считать, что ей виднее.

Выгнал из гаража свой “Москвич”, освободил багажник для пожитков поэта. Даже хорошо, что тот бросил сварочное дело, а то бы въехал к ним прямо со сварочным аппаратом, отвлекал себя таким незамысловатым юмором капитан.

— Сколько же ему лет?

— Двадцать шесть.

— А где служил?

— Па-апа!

— А вдруг теперь заберут?

Лариса рассмеялась.

— Кто его у меня заберёт? В крайнем случае, вернётся опять в госпиталь на пару недель.

Въехали официально, через КПП, замедленно попетляв меж аккуратными ступогами, сдали задом к дверям неврологического флигеля.

Сначала Лариса не поняла, в чём дело. Первое, что бросилось в глаза — отсутствие печатной машинки на тумбочке у окна.

Потом она обратила внимание, что исчезли и все остальные вещи. Какое наглое ограбление! Что она скажет Валере, это ведь она поселила его здесь, и на что годна вся наша Советская Армия, если не смогла обеспечить сохранность имущества всего лишь одного несчастного поэта? Вообще, он знает об этом? А вдруг это начальник госпиталя распорядился. Валера сказал ему какое-нибудь слишком откровенное слово, он ведь не умеет кривить душой, и вот результат!

— Папа!

Капитан обнял её за плечи, успокаивая.

— Ничего, ничего, я его найду и ноги повыдергаю.

Лариса поняла, что тут произошло на самом деле. Сбежал! Это был сколькосообразно, столь и очевидно. “Невеста” села на кровать в состоянии полного окаменения. Ни разговаривать, ни даже плакать она была не способна.

Капитан осмотрел помещение.

Ничего, кроме исчерканных обрывков бумаги, грязного носового платка и заштопанного одиночного носка.

11

Она слегла с сильнейшей простудой. Капитан и капитанша ходили как тени по квартире, дежурили по очереди у постели. Хорошо, что уход за больной требовал много внимания. В эти дни они наконец полностью покончили с той старинной, ещё слонимской историей, всё было прощено друг другу над раскалённым телом обманутой дочери. Все обиды как бы сгорели в этом костре. Дошло до того, что когда в один из дней по окончании кризиса позвонил Лион Иванович, залетевший в Гродно на очередную свою роль, капитан Конев махнул рукою — да пусть заходит!

Супруги, конечно, ничего бы не стали ему рассказывать, кто же такой сор выносит из избы. Лариса сама, выйдя к гостю в пижаме и с замотанным горлом, тут же вывалила всю свою историю. Причём не в жалобной манере, мол, пожалейте меня, а чуть ли не с юмором, что при её воспалённом взгляде, хрипловатом, больном голосе получилось впечатляюще.

Когда она ушла к себе, капитан похвалил её — смотрите, держитесь, даже шутит.

Лион Иванович не разделил такого взгляда на ситуацию. По его мнению, именно в таком состоянии девицы глотают таблетки и бросаются с моста. Вслух он этого не сказал, но усиленно посоветовал родителям подумать о том, чтобы дочка сменила обстановку. Лучше, если целиком весь город.

— В каком смысле?

— Ей надо перевестись. Например, в Москву.

Это звучало, как — хорошо бы ей полететь на Луну.

— И родной дом, и родной институт, всё это будет давить на неё, а я мог бы попробовать похлопотать. Кроме того, я знаю людей такого типа, как этот её, извините, жених. Никакой ведь нет гарантии, что однажды он не нарисуетса поблизости и не станет трепать Ларочке нервы.

— Я его... — Капитан поднял руку, демонстрируя, что он сделает с вернувшимся сварщиком.

— Да бросьте вы, это все слова. Что вы, драться полезете, из пистолета своего застрелите его? А он своими выходками превратит Ларочкину душевную травму в хроническое заболевание. Сломаете своей заботой жизнь девочке.

Конечно, они не согласились, куда это, вдруг отпустить от себя раненое дитяtko в чужие люди за тридевять земель! Но зерно сомнения было заронено. Капитан после одной из бессонных ночей осторожно заговорил с Ларисой на эту тему. Она выслушала, ничего не ответила. Позвонил Лион Иванович: ну что, надумали? Капитан переглянулся с супругой и вздохнул — хлопните!

Лариса, возвращаясь домой с занятий, вдруг ни с того, ни с сего (как будто кто-то дернул за рукав), остановилась у газетного стенда “Гродненской правды” и там, на четвёртой полосе, внизу, в углу увидела ненавистное имя — Валерий Перков, вслед за этим четыре стихотворения, полные такого декадентского дребезга, по сравнению с которым “Мои поражения” звучали как почти жизнеутверждающий текст.

Стоял яркий, голубой, солнечный мартовский день. С сияющих сосулeк, мелко петляя, сбегали вниз быстрые капли. Блестели окна домов, даже троллейбусы выглядели одухотворённо, а в Ларисе закипало злое, но жизнеутверждающее чувство.

Она поняла, что надо делать.

К офицеру Леониду её не пустили. Она дождалась его в скверике у входа в управление. Завидев её, он попытался свернуть в боковую аллею и ускорить шаг, но всё это были напрасные попытки.

— Решила меня поблагодарить?

— Ты мне должен помочь.

— Послушай, сколько это будет продолжаться? Я не собираюсь всю жизнь трястись при твоём появлении.

Лариса была спокойна.

— Всё закончится, как только я отсюда уеду.

Мысль была настолько очевидна, что Леонид перестал раздувать возмущённые ноздри.

— Что?

— Ты должен мне помочь.

— Ну, говори.

— Перевод в Москву.

Он фыркнул.

— В любой институт.

Он фыркнул снова.

Она вздохнула, как человек, обладающий куда большим жизненным опытом, чем собеседник, наивно сопротивляющийся неизбежному.

— Лёня, ты же понимаешь, что это придётся сделать.

В столицу Лариса въехала, слегка прищурившись, как бы прикидывая, кто из попадающихся навстречу мужиков собирается её соблазнить своей беспомощностью и вслед за этим цинично бросить. Она была убеждена, что знает о представителях противоположного пола практически всё, и решила, что её больше никогда не заманить под вывеску “гибнущий талант”. Когда она услышала по радио некогда популярную песню, где были слова: “Женщина скажет, женщина скажет, женщина скажет — жалею тебя”, её чуть не вырвало.

Ей дали койку в аспирантском общежитии пединститута. Она понимала, что это как-то связано с хлопотами Леонида Желудка, но не концентрировалась на этих мыслях. Он обязан был ей помочь, и помог.

Это был двухкомнатный блок с общим туалетом и душем. Одну комнату занимала Лариса вместе с очень болезненной, почти постоянно отсутствовавшей девушкой, вторую — Изабелла. Она сразу завладела вниманием новенькой. Она была иностранка, она шикарно одевалась, постоянно курила, отчего напоминала жрицу в облаке культовых испарений. У неё, правда, был недостаток — она печатала на машинке. Машинка была почти той же породы, что и у сварщика. Рождественницы, как Лиля Брик и Эльза Триоле. Лариса сама додумалась до этого образа после одной из лекций по зарубежной литературе.

Лариса сначала напряглась, а потом простила новой подруге это сходство. Потому что Изабелла боролась. На её латиноамериканской родине царил диктатура, держащаяся на штыхах американской морской пехоты, и Изабелла Корреа Васкес организовала что-то вроде ячейки сопротивления из соотечественников, студентов московских вузов.

Первое посещение её комнаты поразило Ларису, как выезд за рубеж. Здесь всё было другое — запахи, предметы, даже свет из окна, как будто в него подмешали каплю крови. Коврики с диким орнаментом на стене и полу, портреты Боливара и Че, губастые статуэтки, стопки книг с яркими латинскими буквами на корешках. На четырнадцать квадратных метров была устроена совершеннейшая заграница.

Всё началось с кофе. Изабелла вошла в комнату Ларисы, обаятельно выпуская дым изо рта и красиво коверкая русские слова, предложила завязать знакомство. И немедленно отпраздновать его.

Кофеварка выглядела как маленький ацтекский храм, выдолбленный изнутри, запах, ею произведённый, ещё некоторое время самостоятельно жил в воздухе после того, как напиток был уже и разлит и выпит. Изабелла очень нравилась Ларисе: чёрные, смоляные с почти неуловимой проседью волосы, зачёсанные назад, огромные, много повидавшие глаза, браслеты на коричневых запястьях, и манера материться. Она почти на все явления жизни реагировала одним словосочетанием — “бляга муга!”

Еще она нравилась Ларисе тем, что не мужик. Оказывается, можно полноценно общаться с человеком, не думая “об этом”.

Биография у иностранки была феерическая. Дочь плантатора, ушедшая в марксизм. Подруга одного из вождей так и не состоявшейся революции, вывезенная из страны на французской подводной лодке, из горнила креольской резни.

Кроме того, у Изабеллы было большое сердце, поэтому она всё увеличивала и увеличивала количество потребляемых сигарет и кофе. Неправильность её речи во многом объяснялась тем, что во рту она постоянно держала таблетку валидола, и даже две, когда слушала по вечерам новости по телевизору. Кстати, и материлась она чаще всего во время новостей.

Как это говорится, Ларочка потянулась к ней. Сначала клонула на экзотику, а потом распробовав в соседке по-настоящему интересного и оригинального человека. Ларочка ей завидовала. У Изабеллы была борьба; здесь, на третьем этаже московской общаги тянулись будни обыкновенной обывательской жизни, а где-то горел костёр сопротивления диктатуре. Джунгли, барбудос, белые штаны, ром, бандьера роса и сомбреро. Жизнь Изабеллы была

более обеспечена содержанием и смыслом, словно бы порабощённая узурпатором родина была чем-то вроде огромного банковского счёта, с которого можно было получать проценты самоуважения и сочувствия окружающих.

Лариса сочувствовала ей не только как идейной беженке, но и как сердечнице. У Изы иногда и вдруг серело её смуглое лицо, Лариса неслась на первый этаж к жуткому скрипучему аппарату на столе вахтёрши и звала “скорую”. Врачи уже изучили этот маршрут, каждая из бригад ближайшей подстанции перебивала в экзотической комнате по несколько раз, и чем дальше, тем больше они корили революционерку за непрерывный табак и кофе, угрожая больше не приехать, если она не оставит убивающих её сердце привычек. Лариса ругалась с ними, требуя особенного внимания к подруге, стыдила, давая понять, что они имеют дело с необычным человеком, с человеком, по сути сидящим в окопе непримиримой битвы с мировым империализмом. А вам лень оторваться от ваших кроссвордов!

После одного из таких приступов Иза выглядела особенно подавленной. Что? Что с тобой? Тебе всё ещё плохо?! Оказалось, что Изабелла должна была этим вечером отвезти некие “материалы” товарищам латиноамериканцам в общежитие энергетического института.

— Они ждут, а я...

Лариса тут же оделась, мол, ложись на меня.

— А лекции?

Лариса усмехнулась. Переехав из провинциального вуза в столичный, она обнаружила себя ещё более бескомпромиссной отличницей, чем была. Учение давалось легко, сказывалась врожденная бойкость ума и то, что она не отвлекалась от учебы ни на что, кроме общения с Изой. Подваливали, конечно, какие-то увальни с вермутом, танцами и другими тусклыми глупостями, но она уничтожала их ехидным, разоблачающим взглядом. Однокурсницы перед ней заискивали, рассказывали фантастические сплетни про её внеинститутские связи и были втайне рады, что она не охотится на их территории.

В общежитии энергетиков её принял Фернандо. Мрачноватый, жгучий красавец-брюнет. Он взял у неё пакет с “материалами” и настоял на том, чтобы “связная” выпила с ним кофе. Они поднялись в комнату, которую он делил ещё с двумя другими брюнетами. Лариса поднялась из любопытства и из нежелания оскорбить уязвимую душу борца с тиранией.

Кофе оказался растворимый, да к тому же индийский. Лариса подумала, что это забавно, индеец потчует её индийским кофе. Фернандо непрерывно тараторил. Почти непонятно. С огромным трудом Лариса намывала из породы этой болтовни золотой песок какого-то смысла. О, охмуряет! И он, действительно, охмурил. Великолепно, умело... Откуда-то из-за стены явился друг Фернандо по имени Аурелиано с расстроенной гитарой, отчего извлекаемые им звуки были особенно душещипательны. От этого обволакивания и мужского напора Ларисе стало душно. Она встала прямо посреди песни и удалилась.

И устроила Изе тихий скандал по возвращении. Как ты могла? Ты же знала о моём отношении к мужчинам!

Иностранка выглядела очень смущённой, она настолько расстроилась, что Ларисе пришлось её утешать. Иза ругала себя: дура, дура, бляга муга! Как я могла! Я ничего не понимала!

— Он тебя обидел?

Лариса усмехнулась и сделала атакующее гандбольное движение, распахнула кисть так, будто держала в ней оторванную мужскую голову. Иза была в восторге, обняла и поцеловала подругу, шепча что-то вроде: как я могла такую девочку отдать каким-то грубым диким мужикам.

С тех пор Лариса, выполняя поручения Изы, никогда не попадала в сомнительные ситуации. С ней были просто вежливы, и всё.

Очень скоро стало понятно, что Изабелла не рядовой работник сопротивления заморской диктатуре, она своего рода профессор Мориарти в хорошем смысле, мозг этого сопротивления. Или, по крайней мере, один из важных отделов этого мозга. Лариса побывала в десяти-двенадцати московских вузах, снабжая “материалами” группы смуглых активистов. Вечерами они сидели с

подругой при свечах, и ей было так уютно, так хорошо, как в постели с мамочкой лет в пять. Ни о чём не надо думать, ничего не надо бояться.

Лариса вошла во все обстоятельства подруги.

Например, почему это к ней никого не пускают из её латинских друзей? Нарушение режима? Парням нельзя вваливаться в женское общежитие. Мгновенно образуется латинский квартал. Чепуха! Дискриминация! Сначала Лариса наехала на вахтёршу, довела подслеповатую старуху до слёз и поняла только одно — гонения инспирированы откуда-то сверху. Даже к коменданту идти бесполезно.

Комитет комсомола.

На вопрос, почему так обращаются с хворой революционеркой, ей не смогли понятно ответить. Уклончивые слова, мягкие улыбки, странные советы не обостряют, не напрягают.

Лариса отказывалась понимать иносказания и требовала прямых формулировок.

Так мы дружим с теми, с кем у нас объявлена дружба, или только болтаем, что дружим? Партия и правительство за свержение той диктатуры, с которой борется, превозмогая нездоровье, Изабелла Корреа Васкес, или нет?

Не добившись вразумительного ответа в комитете комсомола, Лариса двинулась в массы. На каждой перемене она в буфетах и курилках возбуждала общественное возмущение против варварских порядков. Она всячески расписывала человеческие достоинства Изы, ей в ответ кивали, но без азарта. “Приходите в гости, девочки, вы увидите, что это за чудо Иза!”

Девочки усмехались и обещали подумать. Один раз кто-то из них спросил, а что с Ларисиной соседкой по комнате, она ещё не вернулась? Наверно, всё ещё где-то болеет, рассеянно отвечала Лариса.

А Изабелла умела дружить. Да, она вся была “там”, в пампасах горящей родины, но и отлично различала то, что происходит вокруг. Она, например, первая поняла, что Ларочку тошнит отнюдь не только в ответ на песенный рефрен “женщина скажет, женщина скажет...”.

— Ты беременна.

Ларочка посмотрела на подругу удивлённо и испуганно.

Так что же делать с потомством белорусского поэта? Ларисе сделалось как-то не по себе. Она боялась не возможной огазки, совсем нет. Её угнетала мысль о том, что аборт опять возвратит её как бы в круг влияния этого негодного рифмача с белой шеей. Она до такой степени полно, окончательно и уничтожительно презирала этого человека, что даже от такого, чисто условного возврата к нему её тошнило, не хуже, чем от песни со словами “женщина скажет”.

И всё-таки что же делать?

Надо найти другой путь к очищению.

Какой?

— Я, как ты, наверно, догадалась, немного ведьма. Совсем чуть-чуть.

Лариса улыбнулась — конечно, догадалась, Иза.

— Моя бабушка, она родом из маленькой деревеньки в Андах, умела делать это очень хорошо, чисто женское дело, без всякого вмешательства мужчин.

— Да-а?!

Изабелла изложила ей суть старинного андского метода. Но не настаивала на его немедленном применении. Лариса взяла время на обдумывание, потому что была слишком впечатлена приёмами Изиной бабушки. Этот метод требует не совсем обычного контакта человека с человеком, в смысле женщины с женщиной.

13

Изабелла, однако, не помогла, и Ларисе пришлось обратиться к докторам. День освобождения от плода неразумной страсти был назначен. Изабелла с самого утра была очень внимательна к подруге, глаза у неё были влажные.

Проводив Ларису до дверей, она крепко поцеловала, лишний раз давая понять, до какой степени переживает за неё. Лариса спускалась по лестнице, пребывая под впечатлением от этого поцелуя. У вахты её окликнул молодой человек в плаще и шляпе, он приветливо улыбался, но чувствовалось, что пришёл по делу.

— Я спешу.

Он снова улыбнулся, и Ларисе стало понятно, что даже если она ему расскажет, куда именно она торопится, он не переменит свои планы.

Они вышли из общежития.

— Мне вообще-то не следовало сюда приходить, — сказал молодой человек — и только после этого объяснил, кто он и откуда. После этого представился: Леонид.

Лариса остановилась и сказала:

— У вас “там” что, все Леониды?

Молодой человек тоже остановился и, нахмурившись, сказал:

— Не надо так со мной разговаривать.

— Хорошо, больше не буду, — сказала Лариса без малейшего следа извинения в голосе. Леонид поглядел по сторонам, ему требовалось время, чтобы вернуться к задуманному плану разговора.

— Повторяю, мне не следовало приходить в общежитие, но в учебной части сказали, что вы уже несколько дней не ходите на занятия. А телефон у вас на вахте...

Она вспомнила грохот и скрежет, который живёт в трубке страшного чёрного прибора на столе перед бабкой Аидой, и кивнула. Для связи со спецслужбами этот канал был непригоден. Лариса была немного смущена и немного польщена этим визитом. Приятно ощутить себя хотя бы отчасти государственным человеком. Комитет-то ведь именно государственный. Конечно, гродненский Леонид информировал столичных товарищей, что из провинции направляется в столицу подходящий кадр. Только жизнь теперь так поворачивалась, что Лариса не могла твердо решить — хочется ли ей считаться этим подходящим кадром? В слоях московского студенчества модной считалась неполная лояльность по отношению к власти. Свободомыслие, чтение запрещённых книг. Лариса вроде бы даже начала пропитываться этими настроениями, стала даже забывать, как она перенеслась из провинции в Москву, и тут — новый Леонид. И неприятно — вроде как тебя поймали, и одновременно какое-то бодрящее ощущение нужности стране. А рядом — капризное: что захочу, то и сделаю. Захочу — в диссиденты, захочу — ринусь отечеству служить.

Но это продолжалось только краткий миг. Зашевелился шпион, засевший в животе. Внутренний враг высасывал все живые силы, как будто питался не просто соками тела, а и ценными свойствами материнского характера. Решительностью, уверенностью в себе и т. п.

— Ну? — сказал Леонид.

— Что ну?

— Я жду, когда вы начнёте рассказывать.

— О чём?!

Сотрудник недовольно снял шляпу, но потом снова её нахлобучил.

— Сами знаете, Лариса.

Господи, подумала она, кстати, впервые в жизни. Господи, они всё знают! Ну и пусть! У неё внутри появился очаг острого раздражения — мужской козлизм многолик и изобретателен.

— Да, я иду делать аборт!

Леонид поглядел на неё так, словно рассчитывал услышать не это.

— То есть как?

— А так! Что, нельзя?

Сотрудник всё же снял шляпу и теперь растерянно трогал ею нос.

— Но она же всего лишь лесбиянка!

— Что? Кто?!

Произнесённое сотрудником слово было настолько не из обиходного набора, что Ларисе оно представилось толстой извивающейся змеей, которую змеелов держит на вытянутой руке.

Леонид нервно усмехнулся.

— Да нет, этого не может быть! И вообще, я собирался говорить о другом.

— О чём? — тупо, автоматически спросила Лариса.

— Неужели вы до сих пор не заметили, каким образом она распространяет свои листовки? Она никуда не выходит из-за своего сердца, к ней никто не приходит, она находится под постоянным вашим наблюдением, тогда как?

Лариса села на подвернувшуюся скамейку.

— В ногах правды нет, — услужливо пробормотал Леонид.

— Нет.

— Вы только не подумайте, что мы придаем этой деятельности какое-то большое значение. Но нам не хотелось бы, чтобы мадам Васкес спровоцировала какие-нибудь экстремистские выходы своих горячих друзей у известного нам посольства. Это, конечно, мелочь, но совершенно не нужная. Вы меня понимаете?

Она продолжала сидеть неподвижно и как-то неразумно, словно не пользуясь сознанием во время этого сидения и разговора.

Леонид дёрнул щекой.

— Только не надо делать вид, что вы не в курсе.

Лариса уже поняла, что делать такой вид глупо.

— Ведь с вами разговаривали.

С ней разговаривали. В деканате, перед вселением. Разговор носил какой-то необязательный характер, мол, держите ухо востро, барышня, и по сторонам смотрите внимательно. О причине её перевода из Гродно тогда не было сказано ни слова, и тот, кто с ней говорил в деканате, не рекомендовал себя как сотрудник каких-то органов. Но всё-таки, значит, был им? И она вроде бы как что-то обещала? Вот оно, значит, что...

— Что вы молчите, Лариса?

Она посмотрела на часы.

— Мне было назначено на одиннадцать. Это по знакомству, туда нельзя опаздывать. А я опоздала.

— Не понял.

— Можете успокоиться, Леонид, листовок больше не будет.

Она развернулась и пошла обратно к общежитию. Сотрудник смотрел ей вслед, постепенно понимая, что значит её последние слова. Губы его шевелились от бесшумных ругательств.

Вернувшись к себе, она заглянула к Изабелле и увидела непривычную картину. Активистка и коммунистка стояла на полу на коленях и молилась маленькой гипсовой статуэтке, как потом выяснилось, Девы Марии. Молилась и просила, чтобы всё было хорошо, то есть, чтобы задуманное преступление против человеческой природы совершилось успешно.

Увидев Ларису и догадавшись, что ничего не произошло, она вздохнула с явным облегчением и тихо сказала:

— Он будет жить, бляга мута.

Лариса опять развернулась и бежала от подруги, так же решительно, как от сотрудника.

Она переночевала у Лиона Ивановича. Была молчалива. Не рассказала ему ни о беременности, ни о страшной кофеманке и на следующий день унеслась туда, где надеялась обрести помощь.

Домой.

14

Одно время Ларисе, упавшей на тихое дно провинциальной жизни, казалось, что и с Москвой покончено так же, как с ненормальной иностранкой.

Однако нет.

Всего через полтора года Лариса уже вновь сидела на кухне у Лиона Ивановича на Речном вокзале, ела пиццу и слушала рассказ хозяина дома, как она готовится. Это еда итальянских бедняков — на кусок теста крошат

остатки того, что завалилось в холодильнике и т. д. Тогда ещё можно было, сообщая эту чушь, выглядеть продвинутым человеком, мода на эту дрянную еду ещё только начиналась в стране.

Жаркий сентябрь за окном. Лариса ела очень осторожно, сильно вытягивая шею вперед, чтобы не капнуть томатным соусом на платье. Отличное белое бязевое платье — спасибо мамочкиным связям. А ещё новые, агрессивно изящные босоножки. Тонкие сильные загорелые руки в золотистых волосках, новая манера прищуриваться, как будто всё, что попадает на глаза, оказывается ничтожнее, чем ожидалось. Лариса ела с удовольствием, с удовольствием ощущала свою подтянутую, загорелую, прохладную, несмотря на окружающую духоту, фигуру, отточенную на примеманских пляжах, и с некой ледяной радостью понимала, что она сейчас непобедима. Вон даже этот старикан у плиты, и тот поплыл, ему даже трудно говорить — всё время сглатывает сладострастную слюну. Но нет, теперь она не продешевит, она знает себе цену и поставила перед собой совершенно конкретную цель.

— Итак, ты приехала... — сказал Лион Иванович, затягивая потуже узел пояса на халате. — А в институте?

— Восстановилась.

— Ты же не уходила в академ?

— Ну и что? Я просто поговорила с деканом... беременность, то-сё, и опять студентка.

Лион Иванович звучно скрутил пробку на бутылке “мартини” — редкость в те времена ещё большая, чем пицца.

— Ну, что ж, значит, моя помощь не нужна?

— Нет, дядя Ли, нужна.

Маленький хозяин ожил.

— Ну?

— Я хочу замуж.

Артист поставил бутылку на стол. Еще раз затянул пояс и к тому же поправил шелковый шейный платок. Тихо просвистел:

— Фиктивно?

— Зачем? По-настоящему. Чтобы даже, может, с детьми.

Наполнив бокалы, Лион Иванович искоса глянул на развалившуюся в углу кухонного дивана фемину острым чёрным глазом.

— Но я женат.

— Ой, дядя Ли, вы, конечно, идеальный вариант...

— Понятно.

Лариса решила так — шутки в сторону, надо устраивать свою жизнь на серьёзный лад, иначе можно до старости проболтаться в восторженных дурочках. Такие мысли часто приходят в девятнадцатилетние головы.

Любовь? Не смешите! Видели мы вашу любовь. Сплошная дичь и извращение. Надо ставить на настоящие, солидные ценности. Хороший дом (квартира, дача, машина), пристойный муж, пусть даже дети через какое-то время, а там посмотрим, там наверняка откроются какие-то новые виды.

В голове Ларисы как-то спокойно уживались две взаимоисключающие идеи: 1 — жизнь коротка, и надо торопиться, чтобы всё успеть, и 2 — всё ещё впереди.

— Вы мне поможете, дядя Леня? Вы ведь всех в Москве знаете.

15

Встретились у ресторана “Прага”. Лариса поглядела на него с другой стороны Калининского проспекта, и ресторан почему-то показался ей океанским кораблем, по ошибке заплывшим в скопище городских зданий. В самом деле, дом сужается уютгом и как бы неуловимо движется ей навстречу. Нет, это ей просто хочется, чтобы впрёд, начиная с сегодняшней встречи, всё в её жизни двигалось ей навстречу. Она в каком-то смысле, если угодно, Ассоль. И очень интересно, каков он, предстоящий капитан. Лариса иронизировала над собой, что ей было, в общем-то, не свойственно. Ситуация

была настолько не романтической, что не хотелось смириться с ней без хотя бы кривой ушешки.

Улыбнулась и нырнула в подземный переход.

Лион Иванович стоял у входа.

— Так мы что, никуда не идём?

— Идём, почему ты решила...

— Но вы только что из ресторана.

— Я просто зашёл поесть. Это не имеет никакого отношения к делу.

— Странно, ну ладно. — Лариса крутнулась перед своим низкорослым кавалером, показывая обнову. — Как? Я сгоняла сегодня на “Беговую”. Сто восемьдесят. На “Врангеля” денег не хватило. “Ю Эс топ”.

Лион Иванович ошупал мелкими пальцами заклёпки и швы.

— Это не американские. По-моему — Бразилия. Вроде бы не самошток.

Лариса возмущённо кашлянула.

— Меня трудно обмануть в таких вещах.

Лион Иванович кивнул.

— Пошли. Тут недалеко. Староконюшенный переулок. Старая породистая московская еврейская семья. Надеюсь, ты ничего не имеешь, так сказать, против?

— Про что вы?

— Академик Янтарев и его семья. Дочь академика, её сын, то есть внук академика, муж дочери, которого нет, но который — зять академика. Еще Нора, это как минимум. Они могли кого-то пригласить. Я друг зятя.

Они быстро шли по Старому Арбату и на первом же повороте повернули налево.

— Вот ещё что, Ларисочка.

— Мне не нравится, когда меня так называют.

— По легенде ты моя девушка.

— Это и не по легенде, я ведь пришла с вами.

— Не понимаешь. Я в этом доме принят в некотором особом качестве, вернее, создал определённый образ. Я человек из артистической среды...

— А-а...

— Да, да, вокруг меня всё время женские персонажи, по ним меня узнают. Так вот — ты кадр из моей новой программы, скажем, начинающий редактор.

— Какое-то противное слово, лучше я буду из кордебалета. — Она остановилась и подбросила стройную тяжёлую ногу канканным движением.

Лион Иванович поморщился, напор и весёлость студентки в новых джинсах ему не нравились.

— Скажите, дядя Ли, а про евреев вы предупредили, чтобы я не удивлялась, какие жадные, даже не накормят?

Лион Иванович поморщился.

— Просто у них домработница заболела, некому готовить.

Лариса взяла эти слова на заметку.

Квартира её приятно ужаснула. Система темных, пыльных ущелий, доисторический паркет, протёртый за века подмётками, как мостовые на улицах откопанной Помпеи. Потолок теряется где-то в верхних слоях атмосферы, глупо даже тратить взгляд на его различие. Стен тоже нет, одни стеллажи, переполненные очень старыми книгами. Все вещи очень заслуженные и немного больные — золото пообтёрлось, шёлк поблёк, стекло помутнело. Владелеке мелькнула кухня, кафельный, со смутным рисунком пол, холодильник, как в мамином госпитале, в два этажа, стенные шкафы тяжело над всем этим нависают, просто-таки застеклённые севильские балконы.

— Нам сюда, — сказал худой лобастый юноша, видимо, внук академика, и, стало быть, тот самый... Лариса не почувствовала и тени волнения. Пока не стоит смотреть в его сторону, а он пусть тарачится. И тревожно проаккивает свои такие ранние зальсины. Одет вообще ничего так. Брючки серого вельвета умеренно потёртые, рубашка без ворота, адидасовские кроссовки, эту информацию Лариса считала, даже не повернув головы в сторону претендента.

А вот и какая-то девица в возрасте, голова бесформенная и кудрявая, очки, тяжёлая грудь в чёрной водолазке. Какие-то жуткие штанцы с вытнутыми по-мужски коленями, как же можно так себя запускать, милая!

— Норочка! — запел Лион Иванович.

Она посмотрела на старичка, как старшая сестра, и вздохнула: ну, шали, шали.

“Норочка”, усмехнулась про себя Лариса. Норочка в пещере.

— Это Лариса.

Лариса сделала проницательный, как она считала, книксен.

— Опять я опоздала, дядя Ли, — вздохнула тяжёлая водолазка, — опять вас перехватили, когда же моя очередь?

Нора шутила с таким трудом, что хотелось отвернуться. И Лариса отвернулась от этого разговора и тут встретила взглядом с внуком. Он смотрел не отрываясь, не моргая, с выражением уже всё решившего для себя человека. Это было немного комично при его щуплой фигуре и залысинах.

— Рауль, — сказал он.

— Кастро? — автоматически, как в студенческой курилке, пошутила Лариса, чуть-чуть жалея, что она скорей всего сантиметров на пять-семь выше его, значит туфли на каблучках под вопросом.

— Я сейчас загляну к маман, а вы пока займите гостью, — сказал Лион Иванович и двинулся вглубь дома.

Нора вздохнула и, не говоря ни слова, побрела в противоположном направлении, но тоже вглубь, давая понять, что не считает просьбу артиста относящейся к себе.

— Пошли на кухню, — сказал Рауль.

Пошли. Сели к большому, накрытому когда-то роскошной клеенкой столу. Вода пальцем по длинному порезу, Лариса оглядывалась.

— А там что, дверь?

— Чёрный ход.

Почему-то сообщение о чёрном ходе её очень развеселило. Стало совсем уж как-то всё театрально, прямо баре-господа.

Рауль же продолжал поедание её глазами, как будто она была начальство. Лариса не смотрела на него, но ощущала что-то вроде легчайшей щекотки по всему телу.

— А почему тебя так зовут, ты кубинец?

— Отец татарин. Он хотел, чтобы меня назвали Равиль. Пришли к компромиссу.

— А Нору хотели назвать Нюрой?

— Вроде того.

— Поня-ятно.

— Выпить хочешь?

Тут Лариса на него посмотрела. Ничего интересного или хотя бы опасного в нем не ощущалось, хотя, конечно, видно, что господин окончательно готов.

— А что у тебя есть выпить? — Ей было абсолютно всё равно, но она считала, что надо так спросить.

— Вино какой страны вы предпочитаете в это время суток?

Лариса не поняла парольной фразы, “Мастера” она ещё не читала и чуть набычила, не понимая причины внезапного перехода собеседника на “вы”.

Рауль одним движением метнулся к буфету и вернулся с красивой бутылкой и двумя фужерами.

— Ты не бойся, квартира и правда большая, а Иванычу я скажу, что ты ушла. Надоело ждать, и ушла.

Однако темп! Может, дать мальчику по физиономии? В другой ситуации она бы так и поступила. Но сейчас решила, что могут не так понять. Разумнее всего — следовать заранее утверждённому плану. Спокойно, постепенно, с прицелом на конечный результат. Она решила выйти замуж, и она делает это.

В коридоре послышался непонятный звук — как будто тяжёлая змея ползёт по старинному паркету, почему-то подумалось Ларисе. Через секунду

в дверном проёме появилось инвалидное кресло на колёсах. В нём сидел прикрытый клетчатым пледом старик. Седые волосы всклокочены, наверно ему что-то приснилось, и волосы торчат как впечатления. Горло замотано. На бледном, вроде бы бессмысленном лице вдруг, при виде нового человека, проявилась симпатичная, даже умная улыбка.

Рауль воскликнул:

— Вот и он, вот наша “раковая шейка”!

Академик Янтарев поклонился, больше вбок, чем вперёд. Было в его облике что-то неумовимо восточное.

В тот вечер Лариса ушла с Лионом Ивановичем, и он был в великолепном расположении духа.

— Кажется, клоннул, — сказала Лариса.

— Да, я видел. И Элеонора меня простила.

— Что?

— Понимаешь ли, мой друг и её муж, я о матери Рауля говорю...

— Я поняла.

— ...ушёл из дома с моей девушкой, с девушкой, которую привел я, и я дал обещание, что вроде как компенсирую...

— Так моё настоящее имя — “компенсация”?

— Не сердись.

Лариса дернула плечом, сбрасывая лапку дяди Ли.

— Только я не понимаю, вы так радуетесь, как будто очень её боялись. Она же, Элеонора эта, просто мышь белая. А дедушка мне понравился, хоть немой, а весёлый.

Лион Иванович мелко-мелко засмеялся и сказал задумчиво:

— Элеонора Витальевна не мышь.

— Мышь, мышь, зубки мелкие, мелкие.

Сводник опять засмеялся. Потом сразу настроился на деловой лад.

— Ты с него сруби побольше, я имею в виду с Раульчика. Не очень знаю, чем он зарабатывает себе на пропитание, скорей всего, просто фарцует по-среднему, но связи у него есть. Я имею в виду, пусть раскошелится. Потребуй ресторан ВТО, Мишель Жарр, кажется, приезжает на днях, требуй билеты. Да, скоро в ЦДРИ “Посиделки”, нехай крутится. Нечего просто так ноздри раздувать. Ты должна Москвы попробовать. Я тебе со временем ещё пару пунктов подкину в список, но это уже будет всё, дальше сама.

— Ладно, сама.

— Ну, вот и славно.

— Скажите, а Нора это кто, сестра? Почему только так не похожи они с Раулем?

16

План Лиона Ивановича был выполнен во всех пунктах. Был ресторан, был концерт, и не один, были “Посиделки” в ЦДРИ. Там Ларисе понравилось больше всего. Очень много знакомых лиц. Как будто в одно помещение вытрясли весь телевизор. Удивительно приятное ощущение, что, не прилагая никакого усилия, проводишь время не зря — эффект звёздной тусовки. Вёл вечер маленький щекастый человек с огромными ушами и обаятельным апломбом.

Лариса от души смеялась его предельно двусмысленным шуточкам, стараясь не смотреть в сторону Раульчика. А тот нервничал. Однажды, когда они зашли в ресторан, из окон которого был виден Пушкин, к ним за столик плюхнулся длинный пьяноватый актёр со знакомой бородицей, знакомым голосом, только бы ещё вспомнить, к какой роли они относятся. Кратко поздоровавшись с внуком академика, красавец навис над Ларисой, бормоча какой-то творческий бред. Лариса с ним кокетничала в тех рамках, что считала дозволенными. Было смешно, что Рауль так дергается. Было слишком понятно, что бородатое чудовище, в общем-то, безобидное, герой всего лишь разговорного жанра.

Спросила, когда он ушёл:

— Кто это?

— Робин Гуд.

— Ой, правда! — Лариса посмотрела вслед удалявшейся фигуре с некоторым сожалением, как будто кокетничала бы с ним по-другому, зная, кто он.

В ЦДРИ состоялось пересечение с актёром, имя которого она знала — с Киндиновым. Пока он перекидывался с Раулем чуть раздражёнными фразами, Ларочка весело пялилась на него. Только бы не ляпнуть про то, что обожает фильм “Романс о влюблённых”, такую установку дал ей Рауль, увидев, что герой-любовник приближается к их столику. Но шампанское действовало, мучительно хотелось говорить о кино, об искусстве вообще, пузырьки благодарного зрительского восторга слишком плотно скопились в лобном отделе симпатичной провинциальной головки. И она всё же бросила отчаливающему и явно недовольному (Рауль не успевал со шмоточным заказом) разговором актёру вопрос:

— А где Леночка?

— Какая? — покосился на неё Киндинов и, не дожидаясь ответа, ушёл.

— Какая Леночка? — поинтересовался и Рауль.

— Ну, Коренева.

Внук академика так и прыснул в стакан. Лариса мгновенно протрезвела и с сердитой мыслью — “ах, так!” — взяла сумочку и сказала:

— Может быть, ещё приду.

Рауль догнал её у входа, повис на прохладном локте, запутался в извилинах.

— Больше не смей называть меня дурой!

— Да я же, я же ничего такого не сказал...

Она стряхнула его с локтя и удалилась в туалет. Осмотрела себя в зеркале, осталась довольна, даже губы не нужно подкрашивать, но всё равно провела по ним тюбиком. Проверка боекомплекта, так мужчина удостоверяется, застегнута ли молния на брюках. Когда она вышла, он стоял на прежнем месте, только сделался ещё мельче и несчастнее, чем в тот момент, когда она его оставляла.

— Ты думаешь, я не знаю, что если любовь на экране, совсем не обязательно она есть между актёрами и в жизни?

Рауль мрачно кивнул.

— Я понял, ты пошутила.

— Вот именно.

— Куда ты хочешь теперь?

— В Дом кино.

Они вкатили на такси с Сивцева Вражка в Староконюшенный.

— Дом кино не здесь, — уверенно, но равнодушно сказала Лариса. Ей вдруг стало всё равно, что с нею делают. Уже не хотелось ни искусства, ни всякого такого.

— Пойдём, пойдём.

— Это же твоя квартира.

— Конечно.

— А как же бабушка?

— Ты ещё маму вспомни.

— А как же мама?

— Вот тебе — дом кино.

Рауль усадил её в кресло в полутёмной комнате перед телевизором, на котором стоял большой серебристый параллелепипед. Рауль нажал на нем какую-то невидимую кнопку, ящик ожил, выставив плоскую голову с открытой пастью.

— Жрать хочешь? — ласково спросил хозяин, запихивая внутрь что-то чёрное, удивительно плотно подходящее по размеру, было в этом совпадении что-то даже эротическое.

— И что? — спросила Лариса, начиная волноваться.

— Сейчас увидишь.

В тот вечер Лариса осталась ночевать в доме академика Янтарева. А утром внук академика предложил ей остаться в этом доме навсегда. Разговор происходил за завтраком в комнате с удивительным киноприбором, провинциалка сидела в старинном кресле, облачившись в махровый халат, и пила кофе с молоком. Халат был ей несколько маловат, еле улавливал все её плоти, и Ларисе это нравилось, она чувствовала себя в нем как бы на выданье и даже не старалась придать своему наряду более пристойный вид.

Рауль стоял голыми коленями на старом сером паркете, на нем была всего лишь одна ночная рубашка, трогательный рудимент милого домашнего детства. Он пожирал глазами Ларису как эклер, обалдевая от количества предполагаемого в ней крема. Предыдущей ночью он доказал, что, несмотря на subtilный вид, он большой умелец, и надеялся, что ему удалось заронить в душу гостьи хоть немного сексуального сочувствия.

Лариса, конечно же, не влюбилась. Большой половой аппетит будущего мужа не изменил её отношения к ситуации, на первом месте у неё оставался материальный расчёт. Тот факт, что Рауль любвеобилен и старателен в кровати, вполне мог бы оказаться совсем не плюсом, развеялся в ней неприязнь к нему.

Кажется, всё было в порядке. Трогателен, не противен, готов к подвигам в её честь, с первого же шага повел правильную политику — предложил вселиться.

Лариса вселилась.

Для начала сориентировалась на территории.

С квартирой надо было что-то делать. Во-первых, необходимо было обозначить своё присутствие и серьёзность своих намерений. Во-вторых, просто-напросто трудно было мириться с этим пыльным бардаком, ей, воспитанной в условиях истерической чистоплотности родительского дома. Там у себя в Гродно Лариса в основном была подмастерьем матери в постоянных работах по дому, здесь ей пришлось всё брать в свои руки.

Для начала ванная комната. Огромное чугунное корыто с потрескавшейся эмалью, с жёлтыми разводами и непонятными пятнами было превращено в благоухающий свежестью бассейн всего за полдня. Вслед за этим кафель на стенах и на полу, неуверенно отражающие серый мир квартиры зеркала, краны, напоминающие размерами о римских термах. Из-под днища ванны пришлось выгрести горы мусора — следы предыдущих ремонтов: пыльные бутылки с олифой, отвертки, обломки керамической плитки, гвозди, куски наждачки и так далее и до бесконечности.

Вслед за ванной унитазная. Опять-таки отдраила старинный стульчак, починила непрерывно сочащийся бачок, на свои деньги купила запас туалетной бумаги.

Приступила к кухне. Там самым большим ужасом была, разумеется, плита, огромная и нелепая, как заброшенный крематорий. Удовлетворительно работала всего одна конфорка, обслуживая потребности семейства — кофе, яичница.

— Давно у вас не было домработницы, — сказала Лариса Раулю. Тот кивнул.

— Давно.

Надо сказать, что господа Янтарева молча и издалека взирали на это дружественное вторжение в своё авгиево жилище. И Нора и Элеонора Витальевна рано уходили из дому, перехватив что-нибудь на ходу, одна слушать лекции, другая их читать. Возвращались к вечеру из своих институтов и соглашались покормиться обедом, приготовленным Ларисиними руками по маминым рецептам. Пользуясь тем, что телефон стоял и в комнате Рауля, она набирала свой гродненский номер и подолгу советовалась с Ниной Семёновой. Та очень была рада помочь дочке блеснуть хозяйственными достоинствами. Так что получалось и разнообразно и вкусно.

Ларису хвалили. Элеонора Витальевна сдержанно, Нора рассеянно, Рауль — иступлённо. В среднем получалось четыре с плюсом.

Рауль тоже убегал утром. Он не читал лекций и не слушал, он “крутился”, говоря его языком. Созванивался с самыми разными людьми, ругался, торговался на непонятном шифрованном языке, иногда лебезил, иногда угрожал, Лариса старалась не вникать. Денег он ей оставлял достаточно, так что хватало и на чистящие средства и на свежую вырезку с рынка.

— Послушай, а ты почему не учишься нигде? — спросил он как-то.

— На заочном, — ответила Лариса, чтобы не вдаваться в подробности. Учеба ей и в самом деле давалась легко, несмотря на всю загруженность по дому. Она успевала посещать все нужные лекции и семинары, так что учебной части не к чему было особенно придираться. Да и не хотела она придираться после того, как Лариса выдала им душераздирающую историю о престарелом беспомощном родственнике, за которым она вынуждена ухаживать.

Самое интересное начиналось вечером. К Раулю приходили друзья. С кем только он не дружил! Были среди них художники, научные вроде бы работники, тренер по теннису, банщик, фарцовщики, тут же начинавшие рассматривать Ларису с точки зрения того, как бы её немедленно одеть во всё привозное. Остальные, она чувствовала, больше думают о том, как бы её раздеть. И она не знала, что ей нравится больше.

Главным действующим лицом салона был — видак. И каждый вечер новая кассета. Рассаживались, кто в кресла, кто прямо на ковре, благо теперь он был выдраен старинным, но старательным пылесосом. Лариса устраивалась так, чтобы иметь возможность в любой момент улететь на кухню, если оттуда донесётся подозрительный запах.

Ей было приятно сознавать, что она может смотреть то, что не может смотреть подавляющее число граждан Союза. Что она на переднем крае мирового художественного прогресса. Ей, в общем-то, нравились эти ребята, несмотря на их тотальный, поголовный, неутомимый антисоветизм. Было что-то даже удивительное для неё, выросшей в плотной идейно-выдержанной атмосфере провинциального института и правильной советской семьи, в здешнем мире полной, даже вызывающей свободы от всего советского. Нет, анекдоты о партийных вождях она слышала и раньше, и в Гродно, и уже здесь, но они всегда подавались как что-то чуть запретное, немного шепотом, один на один или в очень узком кругу, для своих. Вокруг каждого анекдота как бы стоял плотной стеной советский строй, самодовольно уверенный в своей незыблемости.

Как раз в разгаре её борьбы за чистоту в квартире Янтаревых состоялись похороны Брежнева. Ларисе очень понравилось на похоронах. Колонна их института собралась возле здания “Известий”, чтобы двинуться мимо кинотеатра “Россия”, по Петровке к Колонному залу для прощания с вождём.

Великолепная атмосфера царил в толпе. Много шутили, смеялись, то там, то там всплывали откупоренные бутылки портвейна. Преподаватели и не думали мешать всеобщему веселью. Леонида Ильича хоронили не как тирана, долго-долго заедавшего век своей страны, а как старого дедушку, мирно отошедшего в иную жизнь. Радость была не злорадная, не мстительная. И вместе с тем было несомненное ощущение, что мы остаёмся там же, где и были, в Советском Союзе, и будет продолжаться то, что было до этого, только без Брежнева.

И Элеонора Витальевна, и Нора подвизались в советских учреждениях, других просто не было, а сам академик был всё же сугубо советским академиком, но и это не создавало в доме никакого двоемыслия. Подтекст тут был такой: советская власть нам что-то дала, да попробовала бы она не дать! После всего, что она сделала с нами! Что именно, уточнять было не принято. Само собой разумеется, что она виновата весьма.

Лариса лишь по каким-то проговоркам, косвенным замечаниям узнала про репрессированного брата академика, про мытарства, которые пришлось претерпеть семейству, прежде чем оно осело на арбатской отмели.

Рауль к Ларисе относился хорошо, этого нельзя не признать. Кстати, дома его звали Рулей. Почти каждый день он приходил домой с каким-нибудь

презентиком. Очки, майка, жвачка. Когда в доме собирались его друзья, старался выставить Ларису как бы вперед, осторожно хвастаясь. Понимал, что было чем. И приятели бурно и искренне восхищались подругой друга. Лариса была нарасхват. В том смысле, что её желал цапнуть лапой почти каждый.

Противнее всего были разговоры. Если бы в них были только скучные сальности, но они всегда были перемешаны с неуловимо презрительными отзовами в адрес Рули. Мол, чего ты нашла в этом паучке. Скоро стало понятно, что, несмотря на академический статус деда, Рауль считается в кругах реальной фарцы явным аутсайдером. Его скорее терпят, чем ценят. И смотрят на факт Рулиного обладания Ларисой как на явную несправедливость. Они курили “мальборо”, они носили джинсы “леви страус” и кожаные пиджаки, и они были явными сволочами.

“Руля меня любит”, — отвечала Лариса на все приставания.

Элеонора Витальевна старалась с Ларисой не пересекаться, старалась не знать, что она творит с интерьером и обедом. Лариса не могла бы даже сказать, что мадам ею недовольна. Та принимала все услуги со стороны Ларисы, оказываемые и дому, и ей лично, со спокойной, равнодушной благодарностью, почти не замечая их. Нет, она хвалила и борщи, и пельмени, и запеканки, но при этом оставалось впечатление, что тут же забывала сказанное. Лариса взяла на заметку эту манеру, считая их проявлением истинного аристократизма. Благодарить, не считая себя чем-то обязанной за сделанную тебе услугу.

Мадам выпархивала по утрам накрахмаленной бабочкой из замшелой пещеры, не неся на крыльях своих одеяний никаких признаков домашнего запустения. Надо было понимать, что её устраивает, как Лариса стирает её ежедневно переменяемые блузки.

Нора была упертее в этом смысле, и как будто никогда не передевалась: непрерывные брюки и растянутые водолазки, и демонстративное пренебрежение к косметике. Лариса попыталась с ней поговорить на эту тему: мы же молодые, надо это помнить, придётся же ещё хомутать какого-то мужика — но натолкнулась на тако-ой взгляд, что побежала жаловаться Руле.

— Она что, считает, что у меня одна извилина, да?

— Да нет, — ласково морщился Норин брат, — просто у неё другие интересы. Не шмоточные.

— Да? А у меня, значит, шмоточные?

Рауль даже заерзал на месте.

— В том смысле, что ты красотка, а ей не дано. Очки, спецхран, неправильные латинские глаголы. А ты цветёшь, тебя преступно содержать в обычном магазинном тряпье. Повторяю, ты красотка.

— Я отличница! — с вызовом сказала Лариса, что было почти правдой, она сдала сессию всего с одной четвёркой.

При этом, что касается обедов, Нора не играла в глупую гордость. Лопала, что подадут, и просила добавки.

Лариса, по большому счёту, была спокойна. Слишком уж было ясно, как Рауль на неё запал. Она воображала себя анакондой, уже подползшей вплотную к беззащитному кролику. Пусть пока дохрумкает последнюю морковку.

И всё же пыталась — очень осторожно — выяснить у Рауля, как его родственники относятся к ней. Несмотря на всю уверенность в своих ценных качествах и в том, что Рауль прочно приторочен к её крепкому бедру, она была снедаема тихим любопытством: как её оценивают? Кем она кажется этим двум женщинам? Скорей всего, они ведь восхищены её чистоплотностью и кулинарной изобретательностью. Рауль почти пропускал эти вопросы мимо уха, стараясь показать, что всё нормально, и нечего беспокоиться о таких чепуховых мелочах. Охотно соглашался признать, что “жрачка теперь у нас — во!” — и поднимал большой палец. Пару раз цитировал Нору на её счет: “Она приехала в Москву, чтобы её прибрать”, это выглядело как шутка, вроде бы и дружелюбная, хотя и с каким-то не до конца понятным оттенком.

— Я могу больше не брать тряпку в руки.

— Да, нет, нет, убирайся, если хочешь, и сколько хочешь.

Лариса остолбенела: всё вдруг стало выглядеть так, что она борется за право бегать по квартире с веником. Не осчастлививляет, а набивается!

Однажды Лариса влетела в комнату с решительным лицом.

— Слушай, Рулик, Нора какая-то совсем странная.

— А что такое?

— Я к ней, а она даже как бы и не заметила меня. Я понимаю, что я здесь никто... — Лариса решила использовать удобный плацдарм перенесённого оскорбления для атаки на стену загадочного молчания Рауля, за которой он прятал карту своих планов их общего будущего. Сегодня не отвертится!

— Оставь её в покое.

— Ах, вот ты так со мной заговорил?!

— Лара, у Норы неприятности.

— И это повод...

Рауль закрыл глаза и медленно втянул воздух.

— Послушай, у Норы неприятности.

— Какие?

— Не может получить отзыв на свой диплом. Или реферат, я не помню.

Лариса поняла, что разговор на важную для неё тему сегодня не состоится.

— Почему не может?

Рауль хмыкнул с мрачно-иронической улыбкой:

— Еврейское счастье.

— Я не понимаю.

— Да я и сам не понимаю, за что нам всё это и столько лет.

Лариса продолжала на него смотреть непонимающе.

— Заболел дядя Иван Иванович, никогда не болел, а тут заболел, инсульт. Невменяем. Писать отзыв должен Шамарин, зам. А он, видишь ли, Ларчик, известный ксеноглот.

— Кто?

— Ну-у, жидоед. Дальше объяснять?

Лариса подумала и сказала — да, объяснять.

Из короткой лекции Рауля ей стало известно, что все командные высоты в русской академической науке, и не только в ней, захвачены патологическими антисемитами, людьми бездарными и мстительными. Они сами не способны к шевелению мозгами и ненавидят всех, кто к этому способен. Такому крупному авторитету, как “раковая шейка”, они повредить были не очень в состоянии, хотя тоже, надо сказать, пытались, “он всегда был им слишком нужен, кто-то ведь должен был сочинять им новые бомбы и ракеты, у самих-то башки не хватает”. Всё время дергались — что делать с академиком Янтаревым? То посадят, то с помпой выпускают. Теперь он хворый, ушёл от дел. Но гадить продолжают, теперь опосредованно, отыгрываются на родственниках.

— На тебе тоже отыгрывались?

Рауль очень внимательно посмотрел на предмет своего горячего обожания. И тихо сказал:

— Нет, я ушёл из аспирантуры сам. Надоело жить на копейки.

Лариса сидела в задумчивости, мяла в руках мокрую тряпку.

Рауль по-своему истолковал её молчание.

— Ты что, краса наивная, может быть, и про черту осёдлости ничего не слыхала?

Лариса что-то, конечно, слыхала, но вдруг поняла, что ни за что не смогла бы ответить, что именно. Она отрицательно покачала головой. Рауль хмыкнул и прочел ей лекцию и на “эту тему”.

Лариса слушала не очень внимательно, она доверяла словам Рауля, поэтому ей не нужно было над ними задумываться. Словно открылся вдруг занавес, предстала действительная панорама жизни. Наряду с этим оглушающим открытием где-то сбоку шевелился небольшой конкретный стыд: как это ей пришлось в голову донимать несчастную Нору бытовую чепухой, когда она есть жертва всемогущего антисемитского государства.

— Я пойду, извинюсь перед Норой.

Рауль грустно усмехнулся.

— Иди лучше спасай рыбу, горит.

Возле рыбы уже дежурила Элеонора Витальевна. Она довольно грамотно перевернула куски судака и теперь вытирала руки тряпкой. Будет говорить, поняла Лариса. И не о рыбе.

— Вы ведь студентка? — спросила она для начала.

— Да.

— И я слышала, учитесь очень хорошо.

Ларисе было и странно, и лестно это услышать. Она поняла, что ею всё-таки интересуются в этом доме, и видят не только добровольную домработницу.

— Я хотела попросить вас об услуге.

— Да ради Бога, — небрежно ответила Лариса. Она была готова на подвиги.

Оказалось, что надо бы съездить в один подмосковный санаторий, там сейчас бережет своё здоровье после того, как шарахнуло его шефа, профессор Шамарин, и забрать у него отзыв на “важную, и очень, работу” Нору.

— Съезжу, — пожала плечами Лариса. Тоже мне. О том, почему не может поехать сама Нора, вопрос даже не вставал. Понятно, что ей ехать невозможно. — Что за санаторий?

Но дело было не в названии санатория, а в том, что процедура получения может быть сопряжена с некоторыми осложнениями, мягко, почти вкрадчиво предупредила мадам.

Лариса усмехнулась, показывая, что нет таких осложнений, с которыми бы не совладала она, настоящая отличница. Элеонора Витальевна удовлетворённо кивнула и тут же заметила, что Лариса может, конечно, отказаться, если у неё есть какие-то сомнения.

— Нет, зачем же.

Элеонора Витальевна снова удовлетворённо, почти дружелюбно кивнула и сказала, что Шамарин не знает Нору в лицо, в этом главная интрига ситуации.

— Да-а?

— Да. Вам придётся выдать себя за неё. Шамарин может задать вам несколько вопросов по теме работы...

— Я подготовлюсь, — улыбнулась Лариса. Элеонора Витальевна улыбнулась ей в ответ. И сказала, что была рада не ошибиться в ней. И ещё сказала, что будет очень, очень ей благодарна. Норина нервная система в таком состоянии...

— Моя нервная система в порядке.

18

Возвращения Ларисы ждали с огромным напряжением. Всё семейство питалось растворимым кофе и блуждало с бледно дымящимися чашками по тускло освещённым коридорам. В полном молчании, отчего происходящее было похоже на своего рода богослужение.

Рауль был особенно пасмурен. Он даже делал вид, что ни с кем не хочет разговаривать.

Элеонора Витальевна один раз даже обратилась к нему, не выдержав.

— Ты что, хочешь сказать, что я поступила неправильно?

Рауль дернул плечом и ушёл в свою комнату, буркнув:

— Ничего я не хочу сказать!

Наконец, щелкнул замок. Лариса вошла. Элеонора Витальевна и “раковая шейка” выкатили ей навстречу. Рауль остался стоять в дверях своей комнаты, поигрывая пустой кофейной посудой. Нора схоронилась в своём кабинете, предоставляя другим разбираться с этой щепетильной ситуацией.

Лариса не торопясь, со вкусом разделась, ни на кого не глядя. Шарф, пальто, сапоги. Понимала, что имеет на это право. Пальто помогла снять Элеонора Витальевна, элегантно улыбаясь.

Лариса надела домашние тапочки, прошла на кухню, налила себе кофе — пришлось царапать ложкой по дну почти пустой жестянки. Сделала глоток и сказала, ни на кого специально не глядя:

— Хорошо, что Нора не поехала.

Это заявление не разрядило обстановки. Все ждали деталей. Как развивался сюжет? Но Лариса стала делиться впечатлениями о главном персонаже.

— Жуткий урод. Эта бородавка на губе, вот тут, в углу рта, как будто сигару не докурил, бр-р. И возле носа блямба, и бровь как гроздь! — С шумом отхлебнула из чашки.

Руля стоял в дверях, жуя губы. Мать с интересом на него поглядывала.

— И по характеру — сволочь! Привык пользоваться своим положением, сразу так и выставил вперед ручки.

И тут все заметили, что девушка слегка навеселе. Элеонора Витальевна обняла её за талию.

— Спать, спать, спа-ать.

— Нет. Где моё пальто?

— Зачем теперь пальто?

Опираясь на хрупкую маленькую “свекровь”, Лариса вернулась в прихожую, порылась во внутреннем кармане своего пальто и вытащила оттуда сложенный вчетверо лист бумаги.

Элеонора Витальевна выдохнула с огромным облегчением, развернув его. И передала девушку с рук на руки Раулю, сопроводив передачу чрезвычайно выразительным взглядом. Лариса этот взгляд перехватила, но оценила неправильно, и попыталась объяснить:

— Если бы он жил не на втором этаже, а повыше, мне пришлось бы похуже.

Элеонора Витальевна замерла.

— Что?

— Пока он там что-то записывал, я на балкон, и в сугроб. Большой сугроб, лбом немного ударилась о древко лопаты. И удрала. Купила бутылку шампанского на станции...

Жизнь продолжалась, как будто ничего не произошло. Лариса была равна и беззаботна, она чувствовала себя даже лучше, чем до того. У неё появилась некая заслуга перед семейством, следовательно, положение её упрочилось, и часемый результат выглядел ещё более достижимым. Требовать немедленных вознаграждений она не стала, это было бы слишком по-хабальски. Подождём с недельку.

Рауль тоже не затевал никаких объяснений, он ждал подходящего момента. А подходящим моментом была бы попытка Ларисы предъявить какие-то требования.

В остальном всё было по-прежнему.

19

Тот день запомнился ей очень хорошо. Началось всё ещё за завтраком. “Раковая шейка” после того, как Лариса покормила его ежедневным витаминизированным бульоном через трубочку, аккуратно убрала чистой салфеткой капли вокруг рта, — академик ласково погладил её запястье и вдруг резко сжал его сухими, шершавыми пальцами. В глазах его было ласковое, дружелюбное выражение. Он явно что-то хотел сказать.

Но надо было бежать на лекции.

В перерыве между первой и второй Лариса курила с подружками на ступеньках истфака, потому что в курилке красили стены, и там хозяйничал ацетон. Смеялись, шутили, Лариса сумела заработать себе и в этой компании серьёзный авторитет. И вот тут, когда она поправляла на февральском крыльце белую дублёнку, выдыхая драгоценный дым тонкой дамской сигаретки, во двор института въехал, преднамеренно медленно, чтобы все могли рассмотреть эту процедуру как следует, самый настоящий американский “Форд”. То, что он был 1963 года выпуска, знала только Лариса, потому что

об этом говорил Руля, за глаза посмеиваясь над Гариком Мангалом, одним из своих партнёров.

Гарик был не слишком высоким, но жгуче красивым кавказцем, полуабхазцем-полуармянином, впрочем, этот факт не имеет никакого значения. Он движением беззаботного Бельмондо захлопнул дверь и, улыбаясь роскошным ртом, направился к стайке оцепеневших студентов. Замшевый пиджак, золотая цепь на загорелой шее (тогда это ещё не было знаком принадлежности к бандитскому сообществу), чёрные очки с надписью “Ягуар” почти посередине левого стекла. Стоял ослепительный, сверкающий полдень, хотя и зимний. Гарик вращался на каблуках, оглядываясь. “Клёвый”, как сказали бы в конце восьмидесятых, почти то же самое, что “крутой” в языке двадцать первого века. Почти то же самое, но ещё и плюс море шарма.

Все топтавшиеся на крыльце студентки сразу поняли, к кому этот визитёр. Девушки попытались ретироваться. “Стоять!” — скомандовала им Лариса. Гарика количество свидетелей не смутило. Он вежливо и обаятельно предложил Ларисе отправиться с ним в кафе. Для разговора. Лариса сухо отказалась, точно попала окурком в урну и собралась уйти. Но он обаятельно умолял, стоически настаивал, просто рассыпался словесно, причём не стесняясь свидетелей. Наконец, наступил момент, когда отказываться было просто невежливо. И глупо. И странно.

— Только вместе с девочками, — поставила условие Лариса. И Гарика, и девочкам, кстати. Саша и Марина вынуждены были её эскортировать. Последняя лекция была позабыта. Руководимые товарищескими чувствами и любопытством, студентки отправились вместе с подружкой и всё время пошучивающим красавцем.

— В “Метелицу”! — велела Лариса. Это было одно из центровых мест тогдашней молодежной Москвы. Вечером попасть туда было очень трудно, вечер, проведённый там, не считался потерянным зря. Закатиться туда посреди учебного дня, на “Форде”, со свитой, показалось Ларисе шикарным. То, что Саша и Марина сильно впечатлены началом приключения, ею организованного, было ей приятно и бодрило, хотя в целом она не забывала держать себя настороже.

Мороженое, шампанское, кофе, ещё раз шампанское, кофе, мороженое в полупустом, довольно-таки унылом в полуденный час заведении. И надо всё время вострить ухо, и Саша и Марина время от времени порывались, то ли из деликатности, то ли под воздействием намёков Гарика, ускользнуть из-за стола. Приходилось их хватать за край платья и водворять в кресло. Нет, резвилась про себя Лариса, тебе не удастся остаться со мной наедине! Она прекрасно понимала, что нужно Рулиному дружку-кобелю, только не на ту напал, мы, гродненские, — гордые. И умные. После четвертой бутылки Гарик расслабился, полностью переключился на подружек Ларисы, которые не демонстрировали такой ярой недоступности, как она. В конце концов, кончилось тем, что Лариса обнаружила себя, вернувшись из дамской комнаты, за столом в единственном числе, и, посмотрев в окно, не увидела на стоянке американскую машину. Испытав мгновенное облегчение, она вдруг вслед за этим, с удивлением, ощутила укол ревности. Ах ты, Саша, ах ты, Марина! Неблагодарные дряни! Увели! Мужик, хоть и не нужный, но мой!

Подозвала официанта, она была убеждена, что Гарик ей отомстил, оставив один на один с громадным счетом, и уже собиралась яростно потратить полученную сегодня гешеппендию и выкатить претензию Руле по поводу наглости его друзей. Но счет оказался оплачен, и это, как ни странно, испортило ей настроение ещё больше. Оказалось, что у неё отняли право на справедливый скандал на тему: твои друзья смеют так обращаться со мной, потому что мы с тобой не расписаны, они считают меня шлюхой!

Поехала злая и пьяноватая домой.

Сидеть без дела была не в силах.

Нацепила фартук и рванула на кухню, там всегда было чем заняться. Хотя бы вот этот сервиз из помутневшего стекла из дальнего, укромного комода, забившегося в угол огромной кухни. Займёмся, пока Руля не вернулся в логово со своей противозаконной добычей.

Стремительно переделалась, фартук, косынка, большая миска с горячей водой, порошок, составленный по особому маминому рецепту, с гарантией победы над любой грязью. Когда открыла шкаф, оттуда пахнуло как из лавки колониальных товаров: корицей, ванилью, кофе, но запах был как будто припорошен пылью пережитых времён. Душа дома обнаружилась в шкафу. Лариса замерла в неожиданной неуверенности — и услышала за спиной тихие всхлипы. Обернувшись, потеряла равновесие на своём стуле, пошатнулась, топчась газету. Внизу были глаза “раковой шейки”, огромные, разумные, с непонятной просьбой в них.

— Что? — спросила Лариса.

Академик вздохнул, выстутив горловой всхрип, и стал быстро работать правой рукой, разворачивая свою повозку. Уехал.

Лариса пожала плечами и начала вытаскивать из пахучей емкости части большого сервиза, его предметы по своему виду были так же необычны, как и местные запахи. Но форма их мало волновала Ларису, с шампанской решительностью она потащила стопку огромных мелких тарелок в мойку. Они так слежались за предыдущие годы, что даже прилипли друг другу. Это вызвало ироническую усмешку у добровольной посудомойки. Чистюли! Тарелки не только слиплись, они покрылись тончайшим налётом, сделавшим стекло полупрозрачным.

Ничего, мамин порошок и не с такими налётами справлялся.

Минут пять-семь прошло в тяжёлом борении порошка и налёта. Очень скоро Лариса поняла, что поспешила презирать неприятеля. Налёт не сдавался с налёта, как она сама с собой каламбурила. Пришлось приналечь всей мощью рук, по которым тосковал большой гандбол. Взопрела, пришлось оттопыривать нижнюю губу и сдуть нависающую чёлку.

— Что вы делаете? — раздался голос за спиной.

Лариса обернулась и увидела Элеонору Витальевну. Явившуюся явно по её, Ларисинуму, поводу. “Раковая ищейка!” — беззлобно подумала Лариса. Донёс. Обычно мадам не только не говорила прямо, но никак и не намекала Ларисе, что её напор и решительность в обращении с интимными деталями обстановки этого дома не слишком-то приветствуются. Но сейчас на её лице читалось явное недовольство.

Ей не нравилось, что Лариса посягнула на данный конкретный шкаф?

Или укусила какая-то другая муха?

Тут что, заповедник?

“Не хватало, чтобы она полезла пылесосить библиотеку”, — так и читалось на этом обычно мягком, вежливейшем личике.

Лариса понимала — тут присутствует тонкий момент. Да, ей прежде разрешалось сметать пыль с поверхности здешних вещей, а теперь она как-то слишком рьяно поперла внутрь здешней реальности. Элеонора боится за своих скелетов в своих шкафах? Это ведь только сервиз! Может быть, памятный, роковой, необыкновенный, но всего лишь сервиз. Разумеется, если бы не этот странный визит Мангала, не многочисленное шампанское, Лариса удержалась бы от фамильярности по отношению к заповедным тарелкам... Но, вот что хотите, тут есть и ещё какая-то подкладка. Элеонора злится ещё почему-то.

Лариса смахнула костяшками пальцев мокрые волосы с мокрого лба.

— Да вот, сервиз...

Мадам улыбнулась с ядовитой печалью в глазах.

— У вас ничего не получится.

— Да, не получается, но у меня хорошее средство, я ототру.

— У вас ничего не получится, милочка. Вам не удастся зацепиться в этом доме.

Внезапная лобовая откровенность мадам обезоружила Ларису, и она просто спросила:

— Почему?

— Вы ещё не поняли?

— Не поняла.

Мадам натянуто усмехнулась. Ей не хотелось развивать тему, ей бы же-

лалось, чтобы её понимали с полуслова, но, кажется, в данном случае без объяснений не обойтись.

— Потому что это особенный дом, милая девушка. Тут свои традиции, своя история, здесь бывали Собинов, Агранов, если вам что-нибудь говорят эти имена.

— Это фамилии.

Мадам снисходительно кивнула.

— Гражданство этого дома нельзя получить просто через постель. Прежние здешние жители слишком много отдали ради него в своё время, страдали и в лагерных бараках, и в партийных президиумах, которые ещё хуже лагерей, если вы меня понимаете, девушка.

— Я не девушка.

— А вот в это я имею право не вникать. — Мадам на самый краткий миг вскинулась, но тут же себя осадил. И перешла на вежливое пение. — Вот я вам, собственно, всё и сказала. И вы, надеюсь, всё поняли.

Лариса медленно мяла в руках мокрую тряпку. Она никак не могла поверить, что ей наносят оскорбление. Она всё ждала, что мадам сейчас даст какой-то сигнал, показывающий, что всё это не всерьёз, и круг взаимной деликатности не разорван. Лариса ещё не поняла, что мир старой, уютной, в общем-то, неопределённости рухнул, и она теперь одна на холодном ветру новой реальности.

— Вы хотите сказать, что Рауль на мне не женится?

Мадам только усмехнулась и пошла к выходу.

— Но можно я хотя бы домою то, что начала? — изо всех сил пытаюсь выдавить из себя хоть каплю ехидства, спросила Лариса.

— Я же сказала — у вас ничего не получится. Это не божеское стекло, как вы, наверно подумали, а бутанская слюда. Подарок Джавахарлала Неру. И учтите, одна такая тарелка стоит дороже, чем весь ваш гардероб.

И ушла.

Вот сука, наконец нашла нужное слово Лариса.

С огромным трудом она удержалась от того, чтобы не превратить драгоценный сервиз в мокрую щёбёнку. Не от трусости, ей было плевать на последствия, которые могли последовать вслед за таким разгромом. Она просто ещё не решила, что всё кончено. Она попробует отыграться. И даже не попробует, а отыграется обязательно! Вот придёт Руля, и мы поглядим, как всё тут обернётся.

А ужин готовить не стала. Когда Руля потребует “чего-нибудь в пасть”, будет с чего начать разговор. Я что, кухарка здесь?!

Рауль выслушал возмущённую возлюблённую молча и угрюмо. Молча же вышел из комнаты и исчез в глубинах так до конца и не прибранного лабиринта. Лариса напряжённо ждала, что до её слуха вот-вот донесётся шум скандала.

Но было тихо.

Стало даже тревожно, когда отсутствие Рули стало затягиваться. Скандал, насколько себе представляла Лариса, вещь скоротечная. Сидеть просто так ей было трудно.

Но что же делать?

Вытащила зачем-то из-под кровати свой чемодан, смахнула с него пыль. Ей вдруг стало обидно и тоскливо. Вот она, эта пыль, это единственное общее, что они накопили с Рудей за все эти месяцы.

Дверь за спиной открылась. В дверном проёме стоял Руля.

— А, собираешься. Правильно.

Лариса резко встала, отчего голова у неё закружилась.

— Что правильно?!

— Собирай вещи.

Она молчала.

— Что стоишь, мы уходим!

— Погоди.

— Чего годить. Маман наговорила тебе такого...

Лариса снова сказала:

— Погоди.

Ей трудно было всё объяснить. Например, то, что чемодан она достала лишь для того, чтобы продемонстрировать глубину возникшего кризиса, а выезжать из этого пыльного дома она не желает. Если мадам возьмёт свои слова обратно, если она хотя бы сделает вид, что не говорила всё это, или что говорила это в шутку, Лариса готова остаться. Но как выразить в словах эту тонкую психологическую фигуру, особенно в тот момент, когда Руля в порыве справедливого, но неконструктивного гнева рвётся вон.

Он стал запихивать в открытый чемодан подаренные им Ларисе тряпки.

20

По одной из застенчивых улочек, что ведут вверх от Цветного бульвара к Сретенке, поднималась парочка пешеходов, на которую обращали бы внимание многие, будь движение тут оживлённее. А так только пара старух и пара котов были свидетелями того, как Рауль и Лариса приблизились к месту своего нового обитания. Рауль шёл впереди с недовольным выражением лица, а Лариса сзади с распухшим, как лицо от слёз, чемоданом.

Они почти не разговаривали, потому что оба были недовольны тем, что произошло. Рауль был расстроен поведением матери, Лариса тем, что вынуждена была покинуть почти уже подготовленное ею для нормальной жизни жилище. Раулем двигала оскорблённая гордость — его выбор был семейством не уважен. Эта женщина была ему нужна такая, как есть. Что бы там они про неё ни плели родственники. Сам этот выезд с вещами из дома был для него тектоническим сдвигом в судьбе. Он не мог объяснить размер своей жертвы Ларисе, а она считала этот подвиг глупостью. Лариса никак не могла смириться тем, что для отстаивания гордости необходимо было отказаться от такого количества проделанной работы.

— Здесь, — сказал Рауль, и они вошли в укромный четырехугольный двор, образованный стенами нескольких семиэтажных зданий, безучастно устремлённых куда-то вверх. Во дворе чахли клён, куст и остов “Запорожца”.

— Нам сюда.

Рауль указал на двухэтажную кирпичную хибарку, притулившуюся в углу двора.

Обошли темную, видимо вечную лужу перед входом, Рауль достал из кармана ключ, вскрыл дверь неприязненным движением, как нарыв. Изнутри хлынуло...

— Чем это пахнет? — спросила Лариса, недоверчиво пряча свой чемодан за спину, опасаясь за судьбу своего фирменного гардероба в этой клоаке.

— Это... ну вроде как мастерская.

— Здесь никого нет, — сказала Лариса, когда они вошли и осмотрелись.

— Здесь никого нет, но он здесь живёт.

— Он художник?

— Да нет, чёрт его знает, чем занимается, был археолог, что ли.

Посередине стояла толпа бутылок, припорошенных пылью. Если бы Ларисе довелось до того побывать в Китае и посмотреть на парад знаменитых терракотовых воинов, она бы заметила, что бутылочный парад его очень напоминает. Все бутылки были одинаковыми — из-под вина, емкостью 0,7 литра — и стояли стройными рядами.

— Форма борьбы с хаосом, — пояснил Рауль, поймав её взгляд.

На выгороженной в углу кухне железная раковина в разводах масляной краски. Из крана вдруг упала капля, увесистая, как официальное приветствие.

— Здесь бардак не то, что на Староконошенном.

— Н-да.

— И я должна всё тут отмыть?

— Ну, не всё...

— А что, если их сдать?

— Что, что, что? — замельчил Рауль.

— Сдать эти бутылки, там рублей на сорок.

Рухнув на спину, чихнув от поднятой пыли, Руля сказал с расслабленным смешком:

— Если хочешь, чтобы тебя сдали в поликлинику для опытов, давай. — Это были годы популярности почтальона Печкина и кота Матроскина, они заменили в некотором смысле в качестве всенародного цитатника Ильфа и Петрова.

Лариса посмотрела на стоявший у дивана стул. Он страдал под напылом лавинообразного пиджака, карманы которого лежали горизонтально на пыльному полу.

— А когда он придёт?

— А кто его знает!

Лариса почувствовала себя сказочной девочкой в сказочной берлоге. А кто сидел на моём стуле? А кто смеялся над моими бутылками?

— Ты бы помирился с мамой.

— Когда она помирится с тобой. — Рауль прыгал на одной ноге, возвращаясь в штаны.

— Как же она со мной помирится, если мы не будем видеться?

— Приберись здесь. Хотя бы чуть-чуть. Вот, возьми. Магазин в этом же доме, с другой стороны. Пару пива.

— Когда ты придёшь?

— Приду, приду.

Уже через полчаса после его ухода на Ларису обрушилось понимание — он никогда не придёт! Ей стало страшно и страшно тоскливо. Ей бы надо было по характеру разъяриться, но она вдруг почувствовала себя обессиленной, брошенной, забытой, как этот комок серого белья. Чья-то многократная, скомканная страсть, навсегда заброшенная. Всё в прошлом! Ей вспомнилась старая картина с разлагающейся от старости старухой. Нет, комок белья был страшней.

Он не придёт.

Зачем же просил прибраться? Смягчил удар. Бросание провинциалки, вот картина!

Унылый храм хлама. Непобедимая, изначальная грязь. Здесь никогда не было чисто и светло. Любой предмет, попадая сюда, немного погибает, теряет большую часть цвета и смысла. Люди как будто тратятся невидимой молью, подумируют.

Лариса решила, что ничего она здесь делать не будет. С таким же успехом можно было бы драить двор зубною щёткой.

Лариса резко вскочила на ноги с дивана, который качнулся, как лодка бедного быта.

И тут же в призрачной атмосфере мастерской нехорошо потемнело. Потемнело в глазах? Нет, хуже! Лариса с ужасом посмотрела в когда-то всего лишь пыльное окошко и увидела там очертания огромной фигуры с огромной головой. Фигура чуть наклонилась, пытаясь рассмотреть, что происходит в мастерской. Ларисе захотелось исчезнуть или хотя бы спрятаться. Опять вернулось — кто тосковал в моей мастерской?! Она готова была даже скрыться в прошлом, замотавшись в тот самый бельевой комок.

Не поможет!

Сейчас он войдёт.

Огромная кисть грюкнула костяшками в дребезжащее стекло.

— Эй, Рыба, принимай гостей!

Гости? Ларисе не стало легче, просто, значит, предстоит другой вид испытания.

Ввалились трое. Двое бородатых по краям, а посреди всего лишь усатый. Бородачи лет по двадцать пять парни, а то и старше, центральный — совсем мальчишка. Если бы Лариса была в этот момент способна к ассоциативному мышлению, она бы про себя обязательно сказала, что один бородач — длинноволосый и буйнобородый, очень похож на Карла Маркса, а второй, с

аккуратно подстриженными волосами на голове и лице, на Энгельса. Только зачем они поставили между собою хохляцкого парубка?

— Хозяйка грязной дыры! — закричал Маркс, преодолев секундное смущение и шумно продвигаясь внутрь. — А где Рыба?

Лариса не знала, что он произнёс это слово с большой буквы, и осторожно пожала плечами.

Она не знала ответа на этот вопрос и пожала плечами.

— Тогда помогай! — скаля отличные зубы в глубине волосатой пещеры, кричал Маркс. Энгельс и парубок вели себя скромнее, по ним было видно, что они всё же чувствуют себя гостями.

Маркс сразу стал взбираться по лестнице на антресоли. Все пошли за ним. Там не было почти ничего, кроме икон. Самых разных. Очень старые на вид, и не очень. Чаще всего обглоданные и замусоленные временем, с окладами и совсем не различимыми ликами. Они стояли, лежали стопками, висели. Рядом кадила, лампады, предметы церковного обихода, но всё без порядка, как будто тут была разобранная церковь.

Бородачи пришли в состояние мгновенной серьёзности и перекрестились, ни к какому отдельному предмету специально не относясь, а уважая всё пространство этажа. Лариса не успела смутиться, не успела начать относиться к гостям как к верующим людям, как всё переменялось.

— Сидайте! — скомандовал Маркс бодро, бросаясь мощным седалищем на местный диван, явно состоящий в родстве с диваном первого этажа. Энгельс и хохол стали выставлять на треугольный журнальный столик бутылки из распухшего кейса. Худые, как у стилиаги, ножки столика скрипнули, собираясь подломиться, но устояли. Энгельс нащупал под столиком две пивные кружки и завершил сервировку. Маркс зубами сорвал поролоновую пробку, и было件ятно, что этими зубами он способен сделать и не такое.

— Пей! — скомандовал он Ларисе, суя ей наполовину полную кружку.

— Зачем? — спросила она строго. Её неуклюжая попытка сохранить какую-то дистанцию вызвала в зубастом взрыв хохота.

— Пей, надо же познакомиться!

Лариса хотела было сказать, что и без этого пошла готова представиться и объяснить, что она находится тут на основании, близком к законному, но вдруг сама усомнилась в этом. Рауль вырвал отсюда в неизвестном направлении, а без него она тут кто?

Вино оказалось вкусным и быстренько побежало по жилам, выдавливая холод, образовавшийся в организме. Произошло быстрое и приятное одухотворение. И очень скоро она поняла, что не является таким уж неуместным здесь существом. Маркс не дал рассеяться этому ощущению. Он объявил, что надо выпить ещё и поцеловаться.

Держась за остатки своего недоверия, Лариса поинтересовалась, зачем это нужно? Бородач сказал, что это, может быть, ни для чего и не нужно, только без этого никак нельзя. Брудершафт. Ах, если брудершафт... Они сцепились с Марксом локтями, выпили, а потом её лицо потонуло в бороде, пахнущей и портвейном и тем, что впоследствии принято будет называть дорогим парфюмом. Поцелуй получился сочный, смачный, берущий под свою опеку. Далее бородач начал балагурить, он и до этого не помалкивал, а тут открыл все ворота. И Лариса оказалась в море иронической информации. Они, оказываясь с Энгельсом, который откликнулся также на имена Кит и Никита, только что вернулись из странствия по "землям русского православия". Почаев, Валаам... Лариса давно уже рассмотрела огромные антикварные кресты в разрезах их потных рубашек, оказывается, они там размещались не только для виду. Ей ещё никогда не приходилось в такой близости наблюдать людей религиозных, и она вновь начала робеть. Причём ясно ведь было, что это не какие-нибудь старухи прихожанки, которых она могла прежде наблюдать у скромной белорусской церквушки. Это были церковные богатыри, изведавшие глубины скрытной монастырской жизни. Они так и сыпали именами и терминами, до такой степени густо, что невидимое масло в лампадах начало нагреваться.

До этого разговора религия не занимала в жизни Ларисы никакого места, а теперь заняла. Оказалось, что Маркс и Энгельс не просто катались на катерах и автобусах по шлягерным церковным местам, они “паломничали”.

Лариса слушала с интересом, открывая для себя целый новый мир. Как глупо было считать, что всё уже в этой жизни известно и понятно, и глубины нет никакой нигде. Вот просто постучал человек в окно, и какие распахнулись двери... Туда можно удалиться от прежних несчастий и жить по-новому.

Портвейн вдруг кончился.

Маркс, которого все звали — Пит, вынул из нагрудного кармана чёрной джинсовой куртки — одет он был очень хорошо, современненько, как будто от Рули, — бумажку в пятьдесят рублей и весело велел друзьям сходить в магазин. Энгельс безропотно согласился. Отношения в их паре отличались от отношений в паре подлинных основателей марксизма. Тут денежным мешком был Маркс. Энгельс взял с собой и парубка, хотя тому явно хотелось остаться и продолжать пожирать глазами Ларису. Странно, но эта совершенно бескровная победа не избавляла её от ощущения брошенности, слегка занавешенного плёнкой алкоголя. Даже наоборот.

Гонцы ещё только спустились на первый этаж, сопровождаемые сладостными рассуждениями о том, чего и сколько надо взять, а Маркс-Пит уже пустил в ход руки. Это был сильный ход. Никаких лишних слов, слова остались в акафистах, и быстрая, но не грубая, не хамская последовательность опытных движений, и вот уже всё продвинулось так далеко, что вернуться обратно можно только на одном транспорте — шумном, визгливом скандале. Причём у Ларисы не было ощущения, что её насилюют, этого она бы не допустила, с гордостью у неё всё оставалось в порядке, имело место что-то вроде чуть утрированного брудершафта.

Маркс показал себя с самой лучшей стороны и после всего того, что случилось. Честно говоря, Лариса побаивалась этих минут после... Но Пит всё сумел превратить в шуточное шоу.

Марксисты составили себе по матёрому коктейлю, поминая поминутно слезу какой-то безымянной комсомолки, “ханаанский бальзам”. Нет, в конце концов, они сошлись на мысли, что составлять нужно “кровь кузькиной матери”. По сто граммов “Стрелецкой” в каждую кружку, по двести граммов мадеры, столько же “Салота”, и остальное — пиво. Осушив по полной гранёной поллитровой лохани, они почти сразу же повалились навзничь на диван и захрапели, вздувая волосы бород.

Лариса полюбовалась на них немного и спустилась на первый этаж, где парубок варил кофе.

— Будешь? — спросил он.

— Буду.

Ларисе хотелось молча посидеть, возможно, подумать. Что-то ведь произошло. Парубку молчать было трудно. Он стал рассказывать историю сегодняшнего дня. Оказывается, он тоже познакомился с бородатыми только сегодня. В Доме журналистов.

— Туда пускают по студенческому. Я с журфака, — счел он нужным объяснить. Ларисе это было всё равно. Она должна была бы испытывать неудобство в данной ситуации, а испытывал его будущий журналист, ей и это было всё равно. Журналист продолжал рассказывать.

Эти двое были дети известных родителей. Это Лариса поняла и сама. Пит носил фамилию Бережной, и полное его имя было — Питирим. Отец его был космонавтом. Никитин папа был заместителем министра какого-то машиностроения. Лариса хотела спросить у парубка, как он затесался в такую компанию. Но поленилась. Молодой человек сам объяснил. Просто оказались рядом за барной стойкой. В разговоре бородачей мелькнуло имя Жировицы.

— А я оттуда родом. Из Белоруссии. Они были там в монастыре. Я им сказал, что я оттуда родом. Они купили ещё пива. Сказали — поехали с нами. Будешь третьим богатырём. Они считают, что Пит — Илья Муромец, Кит — Добрыня, а Алеша Поповича у них нет.

— Целый день таскаемся по городу. Были у трёх вокзалов, у трёх тополей на Плющихе.

Смешно, думала Лариса, и ещё думала — сказать журналисту, что они земляки, или нет. Слоним ведь всего в трёх километрах от Жировиц. Не сказала. И даже не сумела бы объяснить, почему.

— А почему у тебя нет акцента?

— А я учился в русской школе. В Жировицах была белорусская, но я ездил в Слоним.

21

Проснулась она на первом этаже, на диване оттого, что её тронули за плечо.

Руля!

— Что ты на меня так смотришь?

Она, действительно, смотрела на него диковатым взглядом, медленно вспоминая о том, что тут произошло. И когда? И где все эти — Маркс, Энгельс?

Раздался шум сброшенной воды в туалете, и оттуда вышел невысокий, субтильный юноша.

Лариса перевела на него свой странный взгляд.

— Это не хозяин, — сказал Рауль, — это Плоскин.

— А где хозяин? — поинтересовалась Лариса, хотя в данный момент ей это было неинтересно.

Рауль сел на стул рядом с диваном, поставил на пол бутылку вина.

— А хозяин скотина. Я дозвонился до него. И он велел нам убираться.

Лариса подумала, вот и хорошо, не придётся отмывать эту конуру.

— Возьми там на кухне стаканы, — сказал Руля другу. Тот некоторое время гремел там посудой, потом пришёл с одним стаканом.

— И мы что, обратно на Староконюшенный? — спросила Лариса.

Руля вдруг засмеялся, некрасиво и нервно.

— Нигде никто нас не ждёт.

— Что будем делать? — спросила Лариса, начиная мысленно разбираться с проблемой: а где же всё-таки гости? И как представить всё дело Руле, если он узнает, что они здесь были и пили.

— Не знаю! — крикнул Руля. — Почему только один стакан?

— Я не буду пить, — сказал Плоскин.

— Мой одноклассник, бывший контрабандист. А теперь большой человек, — сказал Руля.

Лариса внимательно посмотрела на одноклассника, и ей показалось, что он, наоборот, маленький. И действительно как бы плоский.

— Ты фильм “Москва слезам не верит” видела?

Она видела этот фильм, но не помнила, кажется, в этой компании такой факт надо было скрывать. Руля объяснил, не дождавшись ответа.

— Там действует телеоператор, который говорит, что скоро на свете будет только телевидение. Ничего не будет, будет только телевидение. Так вот это списано с Плоскина.

Кудрявый друг кивнул с достоинством.

— Он считает, что пить вредно.

— Или — пить, или — жить, — улыбнулся друг.

И в этот момент наверху раздался взрыв храпа. Господи, подумала Лариса, но выражение лица осталось невозмутимым. Руля посмотрел на неё бешеным взглядом. Он не успел спросить — кто это? По ступенькам со второго этажа начал спускаться Маркс, расчёсывая живот в развале потной рубахи. Он шёл не один, со своей кружкой, на зов открытой бутылки. Подойдя к Руле, протянул кружку вперед и сказал:

— Выьем с гоем.

Потом всё разъяснилось. Они были знакомы. Маркс иногда пользовался услугами Рули как поставщика западных вещей, к тому же был хорошим знакомым хозяина мастерской.

— Выгоняет? Рыба?! — восхищённо возмутился Маркс. — Дай две копейки.

Две копейки нашлись у Энгельса, тоже спустившегося со второго этажа. Лариса встретилась с ним взглядом, и почему-то именно перед ним ей стало стыдно. Сын космонавта не вызывал в ней никакого смущения. Как будто всё, что у неё с ним было, случилось очень давно или очень далеко, например, на орбите.

Маркс, или Пит, как его предпочитал называть Руля, отправился к ближайшему автомату на Сретенку.

Все молчали, не глядя друг на друга. Только Плоскин продолжал разговор, начатый, видимо, ещё до появления в мастерской.

— Так вот, мы можем всё поменять. Взять любой старый фильм, записать его в компьютер, так называется эта штука, или ЭВМ, как у нас говорят. Только у нас уровень пещерный, а они на Западе продвинулись. Так вот, записать весь фильм, любой, и всё переделать.

— Что переделать? — угрюмо спросил Руля.

— Да что угодно, Руля, ну хоть “Белое солнце пустыни”.

— Зачем? — спросил Энгельс.

— Ну, как зачем, я же объяснял — надоедает смотреть по сто раз одно и то же, как космонавты на Байконуре. Огромный простор для творчества. Берём “Кавказскую пленницу” и, например, товарища Саахова — женим на комсомолке, спортсменке, красотке. Вместо суда в конце — ЗАГС, понимаешь?

— Красавице, — сказала Лариса.

— Да, да, а красноармеец Сухов увлекается гаремом Абдуллы всерьёз. Поселится в доме Верещагина, его жены собирают добро с баркаса, выброшенное на берег штормом, а? Живут в своё удовольствие. А жену Верещагина и жену Сухова из деревни — в дом престарелых.

— Чувь какая-то, — зевнул Рауль, — кино уже снято, как его можно переделать?

Плоскин азартно захохотал.

— Ну я ж тебе целый час талдычу, Руля. Кибернетика, ЭВМ, компьютер, как они говорят.

— Компьютер? — переспросила Лариса, — Какое-то наглое слово.

И тут явился ошарашенный Пит и объявил, что Рыба — подлец. Не разрешает остаться здесь даже на ночь.

— Говорит, позвонил в ментовку.

Руля встал. Плоскин тоже встал. Ему было неинтересно. К себе позвать он не мог. Он жил с мамой в однокомнатной квартире. Меньше его был обязан думать о ночлеге для несчастной пары только Энгельс. У него и у Пита были прекрасные квартиры, и дачи в придачу, но он справедливо полагал, что укол совести должен был испытывать не он, а куда более бородастый друг.

Лариса смотрела на Рулю, она была уверена, что он сломается. Побегит проситься к мамочке. Наступает зимний вечер, откуда-то плывёт страшная рыба в сопровождении милиционеров. И вдруг она подумала: а не убежит ли он под крыло мамаша один, без неё? Не-ет, всё же маловероятно.

Она видела, что фарцовщик мучается, и ей это было приятно. Решай, гаденыш, что-нибудь решай!

— Ладно, — закричал Пит, — поехали!

22

Оказалось, что ехать надо за пределы Москвы.

— Малаховка, — махнул беззаботной рукой Питирим, когда маленькая толпа выкатилась из промёрзшей электрички на завьюженную платформу. Редкие железнодорожные огни разрозненно боролись с всеильной загородной тьмой. Угадывались ряды погребённых под снегом домов, кроме того — заборы и собаки. И всё. В общем, Малаховка.

— Я точно не помню, где он живёт, но он будет рад. — объявил Питирим, и они двинулись цепочкой по неуверенно протоптанной тропе в сторону затаившегося посёлка.

— А кто он? — осторожно поинтересовалась Лариса у могучей спины Пита. И он стал почему-то рассказывать, как потом выяснилось, про Рыбу.

— Да скотина, в общем-то, — сообщил он. — Мародёр. Понимаешь, он закупает где-то на мясокомбинате несколько ящиков просроченной сухой колбасы и дует в какое-нибудь кислое Нечерноземье и там, у бабок, за палку колбасы выменивает иконы, утварь. Пользуется голодухой. Не всегда это, конечно, такая уж ценность, но всегда вещи родовые, от дедов-прадедов. Скотство! И фамилия жуткая — Рыбоконь.

— А ты с ним пьёшь! — вдруг дернул за моральную струну Плюскин.

— А ты вообще кинонекрофил, — вставил Энгельс.

— Какого чёрта я с вами потащился, — вздохнул телеоператор.

— А тебя никто не связывал и не пытал.

Плюскин потащился вслед за всеми из чувства товарищества — ведь выгнали всех вместе, — а теперь вдруг понял, насколько это ложное чувство. Он обернулся, взвешивая, не рвануть ли обратно, но одумался, настолько безжизненным казался окружающий их мир. Рауль, думавший, видимо, о чём-то похожем, громко шмыгнул носом и обречённо побрёл вглубь спящего посёлка.

— Я не про Рыбу, — сказала Лариса. — Я про нового хозяина.

Питирим поставил чемодан с имуществом переселенки, хватанул свежего снега с сугроба и напал на него волосатой пастью. Глядя вслед слегка оторвавшимся фарцовщикам, сказал:

— Человек гостеприимный, но с прибабахом. Душа широкая, ласковая, но немножко козёл. Ладно, пошли, всё равно больше некуда. Главное, сейчас вообще его найти. Электрички уже не ходят.

— А ты адрес знаешь?

— Я приметку знаю.

— А если её снегом занесло?

— Тогда ещё виднее будет, — непонятно объяснил косноязычный Энгельс.

И тут же они увидели, что Рауль и Плюскин, обернувшись, машут им восторженными руками.

— Нашли! — опять непонятно, но удовлетворённо сказал Энгельс.

— Смотри! — сказал Питирим Ларисе. Она посмотрела, куда указывалось, и на время забыла, какую терпит жизненную неудачу в настоящий момент. Над довольно высоким деревянным забором, такие обычно называют глухими, виднелись разного размера, но в основном огромные, неподвижные фигуры. Каменные. В неаккуратно надетых белых папахах и башлыках.

— Скульитор живёт, — объяснил Энгельс Ларисе. — Заказы.

— Тринадцать Лениных. — Пит сел на чемодан, как носильщик, доставивший клиента на место. — Тайная вечеря, прости Господи, и это не считая обрубок, бюстов. Их там полный двор, как баранов.

— Нам сюда? — деловито спросила Лариса.

— Нет, нам к соседям. — Энгельс показал на усадьбу, стоявшую забор к забору с ленинским заповедником.

— Там ещё смешнее, — хихикнул Пит.

23

События предыдущего дня утомили Ларису, она так решительно отвергла поползновения Рули, что он чуть не расплакался. Хотя им выделили вполне изолированное помещение, она не желала больше примитивной походной любви. И дала это понять маленькому сынку максимально понятным, хотя и суровым образом. “Пока мы не вернемся в нормальные условия, даже не мечтай”.

Он скулил, скулил, а потом скрипнул зубами и ушёл пить с мужиками.

Она встала. Оделась, стараясь не наступать на шкуру, и вышла в “залу”. Там имелась печь, большая, белая, русская, и длинный деревянный стол, на стенах висели аксельбантами низки лука, чеснока, белых грибов, целебных трав. В печи уютно копошился огонь. Стены и потолок были обиты сплошь вагонкой, да ещё обработанной морилкой, отчего казалось, что это не малаховская изба, а янтарная комната.

— Утро доброе! — послышался сзади голос хозяина.

— Доброе утро.

Рослый, широкий мужик лет сорока, без бороды и без других особенных признаков радикального народничества, в стеганых штанах, в меховой безрукавке, лицо круглое с одной вертикальной морщиной между бровей. Было понятно, что самое главное помещается там.

Звали хозяина Виктор Петрович, был он пенсионер, а в прежней своей жизни имел отношение к кино. Заведовал районным кинопрокатом. То есть трудился в той самой точке, где живая жизнь сталкивается с искусством. Отчего имел особую позицию по любому вопросу. На мир искусства он смотрел как бы из недр народа, а на народную жизнь поглядывал глазами человека, приобщившегося к высокому.

У него была семья и проживала неподалёку, в пятиэтажке, за две улицы от усадьбы, но никогда никто из родственников в доме с русской печью не показывался, и можно было догадаться, что тому есть причины. Семью Виктору Петровичу заменяли “караваевцы”. Группа людей, собирающихся в усадьбе на свои особые радения. С хлебом или с играми — каравай, каравай, кого хочешь, выбирай — эти собрания не были связаны. Караваев был народным целителем, профессором и учителем жизни. Виктор Петрович одним из важных его последователей, малаховским гуру.

— Что у тебя болит? — спросил Виктор Петрович.

— Ничего, — сказала Лариса, чувствуя, что разочаровывает хозяина.

— Всё равно, по виду какая-то закисленная.

По теории Караваева весь вред в организме был от лишней кислоты, и надо было всячески бороться за щелочную среду в себе. Неправильное питание, гневливость, стяжательский взгляд на вещи очень способствовали закислению. А там и до хвори недалеко. “У сволочи нет щелочи!” — сказал Руля. “Ты зря над ними смеёшься!” — почему-то обиделась Лариса, хотя и сама считала теорию эту скорее бредом.

Питирим залетал пару раз, чувствуя ответственность. Виктор Петрович угощал его самогоном, по целебности не уступавшим бальзаму. И они беседовали с хозяином. Основательно, о вопросах самых корневых и глубинных. Лариса неожиданно обнаружила, что Пит был, в отличие от Рули и персонажей его торговой компании, реально образованным и информированным человеком, в МГИМО он изучал “атомное право”, неизбежно должен был стать большим человеком в области охраны интересов СССР. Он тоже жадно слушал по ночам “Свободу”, “Голос Америки” “чтобы быть в курсе дела”. Он часто соглашался с “голосами”, но оставался при основном мнении, что они все “враги и гады”. Руля и его семейство считали “голоса” последней правдой, а Питирим смотрел шире. Он любил Родину, но она довольно заметно отличалась от той родины, где они пребывали в данный момент с Ларисой и Виктором Петровичем. Его Родина была идеальнее и немного отодвинута в сторону и назад от гнусной нынешней реальности. Все очереди за портвейном и отвратительные “товарищи — товар ищи” были здесь, в Москве и Малаховке, а на Родине “товарищей не было”, и портвейн был без очереди, а ещё, кажется, проживал и Государь император.

Пит был намного интереснее Рули.

От него так приятно, успокаивающе пахло православием. Причём православие его было не отсталого, затрапезного образца, какой встречался ей до сих пор. Это было православие “фирменное”, где-то очень наверху одобренное, в себе уверенное. На него можно было положиться.

Пит был интереснее Рули даже как жених.

Но никаких жениховских поползновений он не проявлял категорически. Раз и навсегда перешёл в разряд друзей.

Оставаясь с Ларисой один на один, Пит объяснял, что Виктор Петрович “не такой уж и чайник”, что за штука этот “караваевский” бальзам, сказать трудно. Но кому-то помогает.

— Видела мужика, вот только что ушёл, в сером пальто, в углу сидел?

— Ну?

— Генерал-полковник. Комитета.

— И что?

— Одно лёгкого нет. Саркома. А Петрович стабилизировал процесс. Главное не закисливаться. Видела, как он, генерал, сидел? Как мышка, а как привык командовать, представляешь? А Петрович его приструнил, хочешь жить, не закисливайся. Веди себя как человек. И таких тут хватает. С чинами. Петрович — учитель. Видала, к нему не только приходят — приезжают. Гуру Петрович.

Всю эту теорию Пит развивал, дыша весёлым перегаром, и было непонятно, до какой степени он во всё это верит.

В тот вечер собралась у Виктора Петровича компания человек из пяти. Лариса даже не пыталась запоминать людей, появившихся под абажуром, и вникнуть в принцип ротации, заведённый в этой компании. Она готовилась к разговору с Рулей. Готовилась каждый день, и всякий раз оказывалось, что подготовилась недостаточно. Он являлся всё позднее и в состоянии всё большей проваленности в свою прострацию. Дела у него шли хуже и хуже. Возникли какие-то долги.

— Ты, может быть, считаешь, что это я виновата?

— Нет, конечно.

— А сколько ты должен?

— Лучше не спрашивай.

— Нет, ты лучше скажи.

— Тебе-то зачем?

— Нужно.

— Если задумала продать корову — не надо. Не хватит.

— И всё-таки?

Но он уже спал. Полночи Лариса прикидывала, сколько надо взять денег у родителей. Сколько это “много”, по московским меркам? У неё зажиточная офицерская семья. Батьки, как говорят в Белоруссии, ударение на последнем слоге, напрягутся. Это будет полноценное приданое. Честно говоря, Лариса, думала именно об этом, но внутри у неё выходило как-то не так цинично. Её финансовая помощь Руле представлялась ей скорее романтическим актом, и она виделась себе как минимум Евгенией Гранде.

На следующий день она пошла на телеграф и отстучала родителям чудовищный текст, из которого следовало, что они должны собрать все имеющиеся у них средства, в противном случае их дочь ожидает нечто ужасное.

Можно себе представить, каких размеров паника охватила Принеманье.

24

Руля отсутствовал два дня, а когда явился, был заметно худее себя обычного и вчетверо менее общителен, чем обычно.

Из этого мог быть сделан только один вывод — ситуация ухудшилась.

Он прокрался в дом незаметно, Лариса обнаружила его только зайдя в “их” комнату. Он лежал навзничь на кровати, одетый. Говорить с ним не имело смысла. Она решила подождать финансовой помощи с западных границ и тогда уж завести с Рулей настоящий разговор.

В тот вечер Виктор Петрович, как всегда, сидел на дальнем краю овального стола и гостеприимно лоснился, он был весь из округлостей — щеки, лоб, подбородок, даже пухлые кисти рук чуть светились бледным янтарным светом.

Гости пили водку и чай. На столе были сушки, карамельные конфеты, селедка и домашние солёные зелёные помидоры с толстой кожурой. Лариса

как-то попробовала, чуть не сломала зуб. У них дома помидоры готовили по-другому, чтобы шкурка лопалась от прикосновения губ.

Гости в основном слушали про Караваева, про опасность закисливания. Толстяк в железнодорожной форме даже записывал. Одной рукой всё время вытирал пот с кадыка, а второй строчил в маленькой книжке.

Ларисе было тоскливо за этим столом. Хуже было только в комнате под лестницей рядом с беззвучно рыдающим Рулей. Перемещалась туда и обратно, и там, и там помалкивая.

“Что я здесь делаю, это какой-то сон. Длинный, мутный сон с туалетом на улице”.

— Может, выйдет к нам? — спросил Виктор Петрович на всякий случай, как спрашивал всегда. Лариса пошла, спросила — может, выйдешь?

— Выйду, — вдруг сказал внук академика.

Руля пришёл не один, с бутылкой какого-то иностранного пойла. Бальзам “Абу симбел”. Этим бальзамом, представлявшим собою что-то вроде расплавленного асфальта, и дорогим, по пять с полтиной, португальским портувейном были забиты тогда все московские магазины.

Караваевцы некоторое время недоверчиво смотрели на нагло вату пузатую емкость. Смотрели на Рулю, он выглядел плохо, подавленный, растерянный человек. Но если просит выпить с ним, уважим. Выдвинули лафитнички навстречу подношенью.

Руля разлил маслянистую жидкость расслабленной, несчастной рукой.

Возьмёт коровьи деньги, возьмёт, подумала Лариса. Никуда он не денется.

Караваевцы выпили.

Все сидели, намертво сжав губы и выпучив глаза. И железнодорожник, и хозяин, и Гурий Лукич. Учитель Вахин вообще держал рукав пиджака прижатым ко рту. Лариса ждала, кто первый произнесёт неизбежную фразу, что всё это заграничное пойло дрянь, водяра всё равно продирает сильнее. Аравийский бальзам пока не давал начаться привычному патристическому разговору.

Железнодорожник, показывая, что он самый железный среди всех, взял бутылку за горлышко и поднёс к глазам, загоня свободной рукой очки на лоб.

— Откуда это? — спросил он, вдумчиво покосившись на поникшего гостя.

Руля объяснил про советско-арабскую дружбу.

— Сколько стоит?

— Мне подарили. А так шесть пятьдесят.

— А-а, — протянуло сразу несколько голосов и все с облегчением. Считай, в два раза дороже водки.

— Да, недешево нам даётся эта арабская солидарность, — ввернул в своём стиле Гурий Лукич. Но тут же поправился, в том смысле, что всё равно это нам необходимо в свете борьбы с израильским милитаризмом. Лариса обрадовалась этим словам, сейчас тихо обидевшийся Руля отчалит от политизирующегося стола, и она сообщит ему, что спасительные финансовые фонды формируются. Она вдруг почувствовала себя способной к этому разговору, как будто сама чего-нибудь выпила.

Цапнула ещё по рюмке бальзама, опять преодолевая неприязнь арийского организма к семитическому продукту. Стали наливать по третьей. Лариса перешла к решительным действиям, взяла фарцовщика за колено и дернула в свою сторону так, что скрипнули ножки стула под ним. Мол, хватит, пошли! Он всё понял и покорно поднялся.

Караваевцы с классическим мужским сочувствием во взоре поглядели на него. Что ж, хоть он и носитель чуждого бальзама, но всё равно же жалко парня, выдираемого из компании.

В комнатухе Рауль рухнул, опять навзничь, на застеленную кровать с таким видом, что больше от него ничего никому не добиться.

— Так, — сказала Лариса, упирая руки в боки, зажмурившись от решимости осчастливить и чувствуя, что у неё глаза жгут изнутри веки, как у Анны.

— У меня дед умер, — простонал навстречу её решимости Рауль.

— “Раковая шейка”?

Руля поднял с лица свои тяжёлые очки, подержал их в воздухе, как бы давая выплеснуться на волю немому отчаянию, и опять вернул на переносицу. Но не попал точно. Они лежали теперь на его лице косо, и это демонстрировало, насколько ему не по себе.

Лариса молчала. Она была, конечно, в смятении. Но не в отчаянье. В голове шло какое-то бурное конструирование возможного будущего. Она представила себе квартиру на Староконюшенном без трагической колесницы академика. Да, сказала она себе, мне должно быть стыдно, старичок хорошо ко мне относился. Но так уж устроена голова человека. Случись ей ухаживать за ним, она бы делала это с последней дотошностью, но, подавая своевременное лекарство, помнила бы, насколько его смерть улучшит её жилищные условия.

Сволочь я, да? Но только ведь не в этом дело, как вы не можете этого понять?

— А ты почему здесь?

Рауль поправил очки.

— Я к тебе приехал.

— Жид! — донеслось из большой комнаты. Лариса дернулась, оборачиваясь.

— Ложись ко мне. — прошептал Руля.

Вот чёрт! Да, она дала себе слово, что ничего не позволит своему “муженьку”, пока он не вытащит её из этой незаслуженной ссылки. Но кто мог знать, что наступит такая ситуация — отец умер...

— Я закрою дверь плотнее. — Лариса повернулась к неплотно закрытой двери.

— Не надо. Ложись.

Он говорил слабым голосом, но уверенно, в нём слышалось убеждение — его пожалеют. Лариса ещё ничего не решила, она просто хотела оградить их с Рулей от доносившихся из-за двери звуков.

— Жид!

Да что они там, совсем, что ли! Лариса никак не могла решить, куда ей кинуться: захлопнуть дверь или сесть на кровать.

— Иди ко мне.

Не столько даже из жалости в связи отцовской кончиной, сколько в возмещение душевной травмы, наносимой Руле этим повторяющимся жгучим словом, Лариса переступила через свой запрет.

— Обними меня. Только крепко. Гандболисточка моя.

Доносившиеся из зала возгласы не имели прямого отношения к Раулю. Шёл серьёзный мировоззренческий разговор. Караваевцы и железнодорожник, и друг его, и учитель Вахин, оттолкнувшись от факта арабского бальзама, перешли быстро к арабо-израильскому конфликту, а там уж и до всего остального было недалеко. Вгрызлись в тему по-серьёзному. В центре разговора был, конечно, хозяин, никто не оспаривал его высшего экспертного положения. Называли по очереди имена известных в стране людей, а Виктор Петрович, поразмыслив несколько секунд, выносил свой вердикт.

— Хазанов?

— Жид.

— Ну, ладно, а Леонид Броневой?

— Жид!

— Но он же гестаповца играл.

— Специально!

— А Кобзон.

— Ну, ты спросил.

— А Пугачёва?

— Тоже!

— Она же...

— Ну и что, что баба!

Виктор Петрович говорил весомо, даже с перевесом, вердиктно, и после его слова проблема казалась раз и навсегда решённой.

— А Высоцкий?

— К сожалению!

Гости помолчали некоторое время. Им не хотелось этой правды.

Лариса жалела, что послушалась Рауля и не закрыла дверь. Во-первых, было немного неудобно, вдруг эти там за столом поймут, что у них здесь в темноте происходит, а потом, все эти “жиды” казались ей совсем уж лишней специей в сбиваемом ими с Рулей любовном напитке.

— Успокойся, — сказала Лариса и погладила его по голове.

— Тебе хорошо со мной?

Прежде он никогда не задавал этого вопроса, и Ларису всё это время немного задевало то, что он, по всей видимости, считал, что она в непрерывном и постоянном восторге от него как от любовника. И таким образом не считает предоставляемые ему сексуальные услуги таким уж драгоценным даром с её стороны.

— А Андропов?

— А как же! — каким-то окончательным тоном сказал Виктор Петрович.

— Бро-ось, — сказал то-то.

И тут нашёл для себя повод взвиться и Гурий Лукич.

— Фамилия его настоящая, знаешь, друг ситный, какая?!

И они унеслись в глубины истории.

— Каменев? Зиновьев? Фрунзе?

— Нет, нет, нет, — кричал Гурий Лукич. — Настоящая фамилия Фрунзе — Бишкеков.

— А Ленин?

Виктор Петрович сам налил себе бальзама. Медленно выпил, чмокнул слипающимися от уверенности губами.

— Жид!

Учитель Вахин схватился за голову. Гурий Лукич тоненько смеялся, тыкая в него пальцем, мол, святая простота.

Руля липко всхлипнул в большое теплое плечо подруги. В первый момент Ларисе показалось, что это иронический смешок. Хотя это мог быть и обесиленный всхлип.

Она резко и решительно встала, натянула джинсы на голые ягодицы, обрушила сверху водолазку, как бы объявляя траур по какому-то вдруг умершему чистому чувству.

Рауль ни единым звуком не прокомментировал происходящее.

Но Ларисе никакие его соображения в данный момент были и не важны. Она двинулась к двери, оттолкнула её властным коленом и через секунду уже сидела за столом. Как Володя Шарапов на “малине” у Горбатого.

— Как вам не стыдно! — сказала она, устремив суровый взгляд на Виктора Петровича. — Что за дичь вы тут несёте!

Все всё поняли и без второй фразы. Русский человек, когда его застают за открытым актом зоологического антисемитизма, всегда смущается, даже в том случае, если считает себя по сути правым.

Виктор Петрович нахмурился, сдвинул брови и выдвинул нижнюю челюсть. Ему не хотелось чувствовать себя виноватым, но в данный момент он не знал, как словесно оформить своё несогласие.

Учитель Вахин тут же принялся придираться к обстоятельствам дела, что есть лучший способ уйти от сути его. Он забормотал что-то насчет того, что подслушивать нехорошо.

И тогда на первый план выступил Лукич. Он медленно встал со стула и стал прохаживаться за спиной Виктора Петровича по короткой дуге, то уходя в полумрак, то оказываясь на свету. Он был похож на разумного гуся до такой степени, что Ларисе показалось, что её слегка мутит.

— Конечно, конечно, я с вами согласен, девушка, это нехорошо. Мы люди вообще-то культурные, не цари Ироды. Мы против, против оскорбления достоинства нации еврейского народа. Против! Это бескультурно, это средневековье... Но неизбежное здесь встает перед нами “но”, вспомните, вспомните...

— Что вспомнить? — сурово спросила Лариса.

— Хотя бы последний “Голубой огонёк”.

— Зачем?!

Говорящий гусь сделал два особенно глубоких кивка всем телом.

— Я ничего, ничего не хочу сказать, повторяю, я ничего не хочу сказать, но вы же сами должны были обратить внимание. Кобзон, Хазанов... Вы обратили внимание?

— Нет.

— И таковых большинство! Народ наш наивен, как большой ребенок. А страна наша называется — Россия.

— Страна наша называется Советский Союз, — тихо сказала Лариса. Но гусь проигнорировал её слова.

— И вот в этой стране России, на Центральном телевидении нет ни одного русского человека. Я ничего не хочу сказать. Антисемитизм плохая вещь, скверная даже, но по чьей вине она возникает?

Ларису отчетливо мутило.

— Ответьте мне, уважаемая борец за права угнетённых выходцев сионизма.

Она встала и молча двинулась к выходу из избы.

Когда она вернулась в дом, первым к ней подбежал Лукич, причём с сумбурными извинениями. Он пытался объяснить девушке, что “ни единого больше словечка по теме. Мы ни в чём тут все не виноваты. Верьте, мне верьте. Мы же думали — не слышно”.

Лариса от него рассеянно отмахнулась, ей было довольно всё равно, хотелось лечь. Она вошла в свою комнату и плотно-плотно прикрыла за собой дверь. Разделась в беззвучной темноте. Первое, что поразило её в тот момент, когда она легла, это ощущение абсолютно холодной постели.

Руля исчез.

Некоторое время Лариса лежала в темноте. Потом села. Под воздействием нарастающих размышлений.

Зажгла настольную лампу, осмотрела комнату. Потом включила верхний свет и опять всё осмотрела. “Жених” не захламлял комнату своими вещами, поэтому она долго не могла понять, забыл он что-нибудь или нет. Ни сумки, ни галстука, ни рубашки. Ничего такого, что можно было бы привезти в Староконошанный, бросить ему в физиономию и сказать, что она о нем думает.

Она не знала, какими словами назвать случившееся, но зато точно знала, что он её предал. И между ними всё кончено. Было почти весело на душе. Решение принято. Хватит, эксперимент не удался, вернёмся к высшему образованию. Очень не хотелось бы потерять повышенную стипендию. Это паукообразное в очках не стоит повышенной стипендии.

Лариса хищно прошла по комнате.

Она была довольна собой, но немного недовольна ситуацией. Хотелось поставить эффектную точку. Даже необходимо было её поставить. Невыносимо сознавать, что поганец Руля и его ненормальное семейство не знают о том, что она вынесла им окончательный приговор. Где и когда это произойдёт?

Ждать сил нет!

Ждать — это пребывать в состоянии унижения, этого она больше переносить не могла. Столько месяцев переносила, а теперь не может, такой вот характер.

Господи, он ведь просто, как раненая перепелка, отводил её, как лисицу, всё дальше и дальше от дома. Чтобы “раковая шейка” умер не при ней. И у них не возникло общей беды с этим семейством, что сближает. Значит, вывозя её в эту тундру, он уже решил для себя, что вывозит навсегда.

Нет, она вернётся.

Надо ехать и наносить последний удар прямо сейчас!

Она представила себе снежные малаховские тропы, прокалённую морозом электричку... И главное, нет аргумента, нет той перчатки, что бросают негодяю в физиономию. Жаль, что женщины не стреляются, она, офицерская дочь, не промахнулась бы даже в этого мозгляка.

Чемодан!

Взгляд упал на чемодан, выглядывавший сытым углом из-под свисавшей с кровати простыни, уже не хранившей никаких остатков выветрившейся страсти.

Господи! Вот что можно вернуть! Нужно вернуть! Это лучше перчатки, потому что больше. Этим можно так шарахнуть по лбу немилому лжецу. Ему будет не только стыдно, но и больно!

Но, одно но!

Чемоданы забиты породистым тряпьем. Жалко? Стыдно признаться, но очень жалко!

Да, это грязные вещи, полученные в оплату за определённого вида услуги. Лариса посмотрела на простыню и передёрнулась вся. Ей уже трудно было представить, что всё, творившееся на этом куске нечистой ткани, имело какое-то отношение к ней.

Единственный способ зачеркнуть всю эту грязь и начать с чистого листа — это избавиться от таких “гонораров”.

Лариса вытащила оба из-под кровати, и большой и поменьше. Положила рядом, распахнула, ещё не представляя, для чего это делает. Полюбоваться напоследок?

Не будем сходить с ума!

Без нескольких вещей из этой кучи грязных тряпок она уже не представляла себе своего дальнейшего существования. Без ангорского свитера, без кожаных брючек... переберём содержимое, как картошку в слонимском погребе. Через минуту чемоданы были уже пусты. Ни с одним из подарков она расстаться не могла. Кроме вот этой зелёной с чёрными вставками юбки, которая так толстит, и летних туфель, зверски дерущих пятки. Но столько вернуть — явно мало! Имеет ли право униженный человек совершать неловкие поступки?

Нет, надо добавить.

Начнём с другой стороны! От совершенно не нужных ко всё более ценным.

Через полчаса борьбы между желанием быть гордой и не остаться голой Лариса нашла какую-то середину. Резко вышла в общую комнату и грозно спросила:

— Который час?

Оказалось, что время детское, около восьми. Темнота за окном, но это ещё не настоящая ночь.

Гости Виктора Петровича собирались между тем расходиться. Медленно, будто двигаясь в растворе более плотном, чем воздух.

— Кто проводит меня до станции? — Каравасевцы испугались. Они знали, что задолжали в каком-то смысле этой молодке, но у них не было в наличии валюты, которая бы стоилась в данном случае.

— С вещами, — пояснила Лариса, придавая требованию не только моральный, но и практический аспект.

Повисла пауза, ей было на чём повисеть в пропитанном тяжёлыми парами оранжевом абажурном воздухе. И тут раздался спасительный звук снаружи.

Учитель Вахин схватил Лукича за плечо и толкнул в направлении звука.

— Пусть Васька.

Оказалось, сынок Лукича прикатил на “Запорожце” для развоза заседателей.

Виктор Петрович очень медленно, почти беззвучно ударил кулаком по столу, мол, быть по сему.

По дороге Лариса командовала водителю, мелкому, восторноному, очень гусеобразному, как и его отец, пареньку, чтобы остановился.

— Есть две копейки?

Сунулась в автомат с навсегда отворённой, погрязшей в снегу дверью. Сам прибор выглядел страшно, в чёрных царапинах, с примёрзшей гречневой кашей в районе впускной щели для монет, с диском,двигающимся толь-

ко под конвоем невынимаемого пальца, с проводом голым, как почти полинявшая змея. Зато связь оказалась на высочайшем...

— Здравсьте, дядя Ли, а я к вам. — Чтобы не успел отбоариться.

— Я ухожу, Лара, я...

— Ключ под коврик!

— Нет! — взвизгнул обычно жантильный конферансье, видимо, имел основания не доверять коврикам. — У соседа будет, в семнадцатой. Я еду в аэропорт, за...

А это нам, дядечка Лион Иванович, “до лампы”, как говорят в каком-то водевиле.

Вот он, мрачный дом, где разрушаются браки.

Только подойдя к парадному теперь ненавистного строения, Лариса вспомнила о смерти академика.

Всё-таки неловко как-то!

Хотя не я же его убила, сказала она себе, понимая, что эта фраза из арсенала плохого человека. Но оскорблённой женщине позволено больше моральной свободы, чем принято думать, и простить ей придётся больше, чем от неё соглашались ждать.

Консьержка, переименованная сердитым сознанием Ларисы в кочерыжку, растерянно ей улыбнулась. Не пустить не могла, хотя и не могла не знать, что высшей властью шестой квартиры девушка отлучена. Лучше прикрыться вязанием.

— Здравсьте! — просвистела Ларочка, накручивая себя против безропотной консьержки, чтобы было легче при наезде на Рулю. Лифт повел себя солидно, грюкнул, крякнул, доставил.

Встав перед проклятой дверью, Лариса стряхнула всю вертевшуюся в голове гневную словесную шелуху, больно надавила на звонок.

Довольно долго дверь не открывалась, уже почти наступил момент для повторного удара, когда открылась.

Навстречу из полумрака прихожей сверкнула тихая, безумная, и главное, очень знакомая улыбка.

Академик глядел вполоборота, он подъехал к замку боком, чтобы легче было дотянуться. Он был явно рад визиту Ларисы, даже сделал несколько знаков, показывающих это.

Пауза затягивалась.

Из глубины отмытой Ларисой квартиры донеслись чьи-то шаги.

Лариса поставила чемоданы внутрь квартиры, слегка толкнув колёсное кресло, так что академик обратился взглядом во тьму внутреннюю своего идиотского дома.

Захлопнула дверь.

Вниз отправилась ногами. Как бы убеждаясь при каждом шаге, что сохранилась как личность.

На секунду вспыхнуло желание вернуться и всё же поскандальить.

Пожалела о чемоданах, как о зря потраченной причине для визита.

И тут же навалилось мрачное бессилие.

Укатали-таки сивку московские горки.

Лучшая, хоть и меньшая часть богатства была сдана по дороге в отдельной сумке в камеру хранения на Ленинградском вокзале.

Выйдя на крыльцо, Лариса пожалела, что бросила курить. Сейчас бы сигарету, и пощёлкать зажигалкой, прищулив глаз.

Ладно, просто постоим, вдыхая мощный морозный воздух. На нём вырастают настоящих снежных королей. Унять дрожь в ногах.

В арке скрипнули тормоза, двор всыхнул. Хлопнула дверь. Двор погас. Кто-то, мелко хрустя снежком, приблизился к крыльцу.

Лариса уже владела собой.

— Здравствуй, Руля.

Он был расслаблен, видимо сильно вышил в честь смерти своего дедушки. Прикрывал грудь прямоугольным свертком. Другой рукой искал на лице очки.

— А я пришла посочувствовать твоему горю.

— Врёшь, — сказал внук. — Ты всегда мне врала.

Лариса отставила по своему обыкновению крепкую ногу и расправила плечи, почувствовала, как похолодело у носа место гандбольной травмы.

— Ты всегда мне врала. Ты никогда меня не любила.

Что ответить на “врала”, Лариса знала, но это “не любила” её столкнуло с абсолютно выигрышной позиции. Этот мозгляк с очередной краденой иконой на впалой груди говорил ведь сущую правду. Она никогда его не любила, она хотела выйти за него замуж. Она была бы гарантированно верная жена и родила бы отличных детей. Но не введёшь же в спор эти аргументы, они могли бы стать реальностью лет через десять совместной жизни.

Еще не зная, что сказать, Лариса сделала шаг вперёд, и тогда Руля вдруг заплакал, и сказал, отходя:

— Оставь, пожалуйста, в покое нашу семью.

Вот оно что! Он, оказывается, условно убил своего дедушку, чтобы перейти в состояние тех, кого надо пожалеть, и на этой слёзной смазке ускользнуть.

Сзади хлопнула дверь, и раздался голос, который Лариса слышала не часто.

— Уходи.

Лариса обернулась.

Сестрица Нора своей неодетой персоной. Она держала в руках те самые чемоданы. Лариса, чувствуя, что её положение из изначально победительного превращается в положение изгоняемой со двора суки, попыталась пойти в контратаку. Не бежать же, поджав хвост.

— Он сказал мне, что дед умер и лежит в морге.

Нора улыбнулась.

— Это я ему посоветовала.

— Зачем?

— Мы не знали, как от тебя отделаться. Рауль пожаловался мне. Мы давно не спим вместе, но остались родными людьми.

У Ларисы свело челюсти, она старалась смотреть одновременно на одного и на другого, у неё это не получалось, и это её пугало, она боялась, что упускает самое главное.

Рауль не плакал, но лучше бы плакал. Такой абсолютной несчастью видеть Ларисе прежде не приходилось. Нога её поехала по накатанному снегу, и она сделала тем самым приставной шаг в его направлении, он инстинктивно закрылся свертком и прошептал:

— Не бей меня.

— Иди сюда, — тихо, твердо, успокаивающе сказала ему Нора.

Он поднялся на крыльцо, она взяла его под руку, другой открыла дверь и, входя в подъезд, толкнула один из чемоданов, он покачался, повалился, изобразил “принцип домино”, повалив второй.

— Забери это, — сказала, не оборачиваясь, Нора, — я такого не ношу.

И они скрылись в подъезде.

Лариса понимала пока только одно — всё не так, как она себе раньше думала. Какие неожиданные измерения открываются, и так внезапно. Чувствуя, что в этом новом мире она пока только ученик, она решила следовать даваемым советам. Послушно взяла чемоданы и отправилась к подворотне. Вышла на безрадостно яркий Арбат и медленно пошла в сторону ресторана “Прага”.

Да, старые московские семьи — это сильно, это по-глубокому, это с одного разу не переплонешь.

У афиши “Художественного” на Ларочку накатило какое-то на время отставленное чувство, она вдруг замерла, подняла чемоданы и брезгливо разжала пальцы.

— Я такого не ношу!!! — крикнула она, и никто из окружающих не понял, что это цитата. Чемоданы лежали в чёрной, липкой, солёной московской грязи, люди, чертыхаясь, переступали через них, а Ларису трясло, она, выпучившись, смотрела на них.

Вот это московская, столичная, старая семья, у них братья спят с сестрами, а она, кристальная Ларочка, оплѣвана...

— В чём дело?

Слава Богу, рядом оказалась власть. Милиционер постучал по козырьку антенной большой рации, назвал какой-то позывной. Лариса закивала, подхватила чемоданы, которые она ни за что в жизни не принесёт больше в эти места, и помчалась в метро.

25

Приехала в Теплый Стан. Дядя Ли шутил в стиле своего вечного конференса, что это название не городского района, а “лёгкого эротического романа”. Она не думала об этом, подходя к девятиэтажному кирпичному дому, она думала только об одном: забраться под горячий душ, а после этого переодеться, рухнуть в какое-нибудь кресло и там заснуть до возвращения эстрадного дяди, а ещё лучше до возвращения способности смотреть на окружающую жизнь без содрогания.

Она помнила номер квартиры. Поставила чемоданы на площадку у дверей конференсе, подошла к соседской двери — номер семнадцать — и нажала звонок. Нажала и начала рассматривать зрачок глазка, встроенного в дверь как раз напротив её глаз. Через несколько секунд ей показалось, что там внутри зрачка что-то зародилось. Да что вы там... Она опять протянула руку к звонку. В этот момент дверь бесшумно распахнулась, какой-то абсолютно молчаливый мужчина схватил её за протянутую руку и одним рывком втащил в квартиру.

Дверь захлопнулась.

Лариса могла издавать только нечленораздельные звуки и не могла обратиться для сопротивления. Её решительно и с какой-то опасной умелостью увлекли внутрь квартиры, и вот она уже сидит на роскошной кухне за столом, приходя в себя.

Напротив неё сидит господин Шамарин и отвратительно улыбается, и его отвратительная “сигара” торчит в углу рта. Поскольку он всё в этой жизни делает отвратительно, чего же ждать в дальнейшем?

— Что вам надо? — глухо спросила Лариса.

— Ты же знаешь.

Дядя Ли в шоворе с этим бородавчатым садистом?! Какая низость и грязь! Умом Лариса понимала, до какой степени пакостно поступил с нею друг семьи, но у неё совершенно не было сил для активного возмущения. Бессилие, смешанное с отвращением.

Шамарин достал из холодильника бутылку кипрского муската “Лоэль” и початую коробку конфет.

— У вас всё равно ничего не получится.

Он положил свою пятнистую лапу на её скомканную в бессильный кулачок руку.

— У меня всегда всё получается. Иногда не с первого раза.

Да, тогда, в первый раз Лариса его красиво, даже элегантно обдурила, вырвавшись с отзывом неблагодарной Норы из обустроенного для разврата номера. Ушла красиво и легко. Господи, всего лишь прыжок с невысокого второго этажа в сутроб. Если женщина не хочет, то она не хочет.

Шамарин встал, повернулся к стенному шкафу. Шкаф был дорогой, темного заморского дерева. Достал бокалы. Лариса резко и, как ей казалось, бесшумно встала и ринулась к двери. Не глядя в её сторону, другой лапой, ещё более пятнистой, Шамарин поймал её за предплечье и вернул на место.

Снова сел напротив, улыбаясь всеми своими бородавками на всех губах и бровях.

— Я ведь и жениться могу.

Лариса чувствовала, что предательство дяди Ли проделало какую-то особенно большую пробоину в системе её независимости, все силы, вся ирония, способность визжать и царапаться и прочие полезные способности утекают в эту пробоину, и их неоткуда возобновить.

Профессор спокойно разливал вино.

— Ничего страшного, возьму с ребёнком.

Благородный, подумала Лариса, но подумала с отвращением.

— А вас не смущает, что ребёночек будет еврейский?

Шамарин отхлебнул вина и улыбнулся.

— Ты уверена?

Лариса громко гоготнула.

— Вы что, не видели Рулика?

— Так ты гарантируешь, что ни с кем больше не спала?

Лариса глянула на него недоверчиво, чего это дяденька придуривается?

— Гарантирую.

— Ну, тогда у меня есть дополнительный повод для восхищения тобою.

— Не поняла.

— Дорогая, получается, что все те месяцы, что я тебя добиваюсь, у тебя был всего лишь один мужчина. Да ты, собственно, можешь идти под венец в фате. — Шамарин улыбнулся, — Я не антисемит. Я совершенно искренний интернационалист. А что там про меня болтают... Только в данном случае это моё достоинство ни к чему.

По лицу Ларисы было видно, что ей трудно что-либо понимать, но предстоящий насильник продолжил:

— Там на всё семейство один еврей, да и тот отличный мужик, “раковая шейка”, а все остальные приемные, полуприемные, полудатыши, как Элеонора, полунезнаю кто. Первая жена академика помре, а сын, который привел Элеонору, где-то в бегах вне пределов, с какой-то Варенькой, короче, такая тюря... Не забывай себе голову.

— А Нора?

— Что Нора? Ах, Нора, она жена Рауля. Они что, тебе не рассказали?

— Жена?

— Да.

— То есть не сестра?

— Не сестра.

Шамарин откровенно веселился, время от времени трогая мизинцем свою “сигару”.

Ларисе стало значительно легче от этого известия. Хотя вопросы оставались.

— Но...

— Ну, они, как говорится, давно уже не живут с Раулем, но Нора-то успела стать членом семьи. Не выгонять же её.

— Так не бывает.

— Бывает, Лара, это же Москва.

— Это мерзость.

Он усмехнулся.

Шамарин говорил тихо и ласково. Он склонял девушку к неизбежному очень мягко, никакого насилия. Она ему нравилась. Сначала в нем говорил азарт успешного соблазнителя, который ни одной юбки не пропускает мимо своей должности, и его очень злил её прыжок из окна. Теперь желание навести порядок в половых делах, наказать ослушницу отступило на второй план. Девушка ему нравилась.

Было видно, что она не просто выпила и расслабилась. Ей чисто по-человечески стало как-то легче.

Она уже в сомнениях — что делать дальше?

Нет, правда, сил, тихо начала она оправдываться перед собой.

Или всё-таки опять обдурить уroda, вырваться в чём мать родила на улицу, в темную, страшную ночь. Или хотя бы на площадку, орать, вопить...

Кстати, а чемоданы?

Она посмотрела на хозяина квартиры, он опять ей улыбнулся, как бы мысленно перебирая свои бородавки у себя на бровях и на губах. Он был совершенно недвусмыслен. Весь его облик говорил — пора. Сама же знаешь — пора! В нем не было даже самодовольства, что отталкивало бы больше физической отвратности.

— А мои чемоданы?

— Что?

И тут раздался звонок в дверь. Лариса прыснула, ей показалось, что это многострадальные шмотки пришли её спасать.

Вот тут лицо Шамарина сделалось ужасно. Гнев, а потом сразу же, через унижительно краткий промежуток — ужас. Он вышел в прихожую. Понесся второй звонок, и тон его получился значительно более тревожный, чем у первого. Хозяин одним глазом косился в сторону двери, другим в сторону залётной птахи, которую, кажется, придётся выпустить. Что за несчастье!

Третьего звонка не было, сразу пошли кулаки в дверь и женский возмущённый крик — “Откройте!”

Шамарин глянул в глазок, он, видимо, не принимал серьёзных решений без визуального осмотра. Лариса подошла к двери и сказала через спину хозяина:

— Бабушка, не надо, сейчас я открою!

Потом, когда уже сидели на кухне у Лиона Ивановича и опять пили сладкое вино, расслабленная Лариса (принявшая душ, переодевшаяся) задавала несколько вопросов хозяину, всё увливавшему от неё взглядом.

— Скажите, дядя Ли, а не жалко вам было меня отдать этому?

Он отреагировал мгновенно, даже быстрее.

— Случайность. Хочешь, Ларочка, верь, хочешь — не верь. Просто сосед. Я не знал, что он уже давно над тобою нависает. Мы, понимаешь ли, из одного кооператива. Всего лишь.

— Понимаю.

— Да ничего ты не понимаешь. И если бы он мне проговорился, хоть словечком, я бы, — сухонькая фигурка даже чуть подпрыгнула на шахматном кафельном полу, — никогда бы не оставил ему ключ. Дождался бы, не знаю уж, что бы я придумал в отношении Виктории Владимировны, — он церемонно поцеловал бабушке ручку.

— Врёшь ты всё, Лион, мне-то сказки не рассказывай, — сказала бабушка.

На эти слова хозяин не обратил внимания.

— Взвешиваю, много раз думаю умом, Ларочка. А потом думаю сердцем.

— А почему вы меня не предупредили, что Нора не сестра Рауля?

— Думал, всё само собой образуется, разрулится, не хотелось никого обижать. Нора, она славная, только несчастная совсем. Ей надо было, наконец, порвать с Рулей.

— Так всё было ради неё подстроено?

— Нет, Лара, нет, ради тебя, ты получала то, что хотела, а она...

Лариса вздохнула.

— Да ну вас всех. Москва, Москва. Клоака! И я за всё должна отвечать!

Лион Иванович развёл руками.

Виктория Владимировна погладила внучку по голове.

— Да будет тебе. Ты свою семью вспомни.

— Что?

Лариса посмотрела на бабушку и наткнулась на тяжёлую, окончательную, как у какого-нибудь Будды, улыбку.

— Да, да, ты подумай обо мне, об отце твоём, каково было матери твоей. Ты ведь обо всем догадывалась, правда? Или своё не пахнет?

Лариса некоторое время боролась со своим ступором, потом дернула плечами, отбрасывая противную тему.

— Бабуля, а ты как здесь?

— Ты такую телеграмму мне прислала, что стало понятно — тебя надо спасать. Для чего тебе деньги, и столько?

Лариса вздохнула.

— Теперь и не знаю.

ЧАСТЬ ВТОРАЯ

1

В последний раз, поведив ладонью параллельно стеклу, Лариса отвернулась от окна. Рождественники пропали из движущегося кадра. Теперь там проплывали высоченные окна главного вокзального здания, потом камера хранения, что-то водонапорное в окружении сирени и жасмина... Поезд покинул город Гродно.

Три попутчика.

Два молодых офицера, крупные, смешливые парни с красными полосами поперек лба, это от фуражки. Толком даже не распаковавшись, зашвырнули одинаковые чемоданы на вторую полку и решительно, с предвкушающими комментариями, удалились. Даже не получив белья и не испробовав вагонного чая.

Третий попутчик, очень приличного вида пожилой мужчина с солидной сединой, тщательно выбритый, в светлом костюме, в галстук и даже уголком платочка в нагрудном кармане. На губах приятная, не вульгарная улыбка, всё время находится в позе — я к вашим услугам. И поза не обманула. Был всячески любезен. Предложил свои услуги в доставке белья. Принес чай в горячих подстаканниках, вынул плитку дорогого шоколада. Когда Лариса встала, чтобы сходить покурить, тут же выхватил из кармана пачку “БТ” и извинился, что ничем лучшим не располагает. Лариса улыбнулась, сказала, что у неё у самой болгарские, “Стюардесса”, но вообще-то она бросает курить.

Плохое настроение рассеивалось. Что ж, обязательная программа на этот год выполнена, семейство навестила, целая неделя отпуска ухнута на это дело, но зато теперь совесть чиста, а то всё как-то не по-людски. Интересно, что это за “дедушка” с манерами метрдотеля? Такое ощущение, что когда-то виделись. Мельком, где-то... Оказалось, что она попала в точку первым же предположением. И когда он напомянул ей, мгновенно восстановила в памяти эпизод. Ресторанный буфетчик, пан Кохановский, ею некогда опощённый. Приятная встреча. Рассыпаясь в любезностях, сообщил, что и тогда был рад обслужить пани ах, Ларису, очень “преемно”, и сейчас служить готов.

Воспитанный, даже учтивый провинциал, вояжирует всего лишь до Минска, более дальних целей у него нет, хотя раньше были. Осторожно так, мягко намекнул, что в молодые годы хлебнул с рождественниками и сибирских морозов, и несправедливости. Тему развивать не стал, видя полнейшее отсутствие к ней интереса у пани спутницы. Чтобы завладеть вниманием дамы, лучше всего вести речь о самой даме. И Лариса кое-что поведала пану Кохановскому. Из семьи офицеров. Училась когда-то в Гродно, а потом в Москве. В пединституте. Он уважительно поджал губы. И вот уже четыре года работает в ЦБПЗ. О, сказал он, я даже не рискну спросить, как это расшифровывается. Лариса засмеялась — не бойтесь, это не военная организация: Центральное Бюро Пропаганды Знаний. Пан Кохановский опять уважительно поджал губы.

Через пару часов явились офицеры, пьяные абсолютно, но в тисках особой офицерской деликатности, их всё время шатало, и они всё время церемонно извинялись.

— Пойдёмте, поужинаем, — предложил пан Кохановский. Вагон-ресторан оказался в двух шагах от их вагона. Пожилой ухажер всё устроил по высшему разряду. Зная тайный официантский язык, он заставил ресторанную службу озабоченно вертеться вокруг их столика. Началось всё с чистой скатерти и так далее по полной программе, вплоть до мороженого и пожеланий счастливого пути.

— Приятно оказаться в обществе такого обходительного человека, — несколько раз повторила за вечер Лариса. Он отвечал ей комплиментом на комплимент. Он сказал ей, что она относится к тому редкому сейчас виду дам, которым приятно услужить. Совершая ради неё маленькие бытовые по-

двиги, чувствуешь свою мужскую уместность, и время не проходит зря. Он ещё тогда в буфете обратил на неё внимание и залобовался, в самом невинном смысле, пани Лара, так утомляет общение с женщинами, лишёнными подлинного женского обаяния. Как хорошо, что за эти годы вы не изменились, пани Лара, наоборот, этот шик, этот милый женский апломб стал только отчётливее.

— Я вернулась, — сказала Лариса, допивая уже тёплое шампанское.

— Я не понял.

— Я была не я, а теперь я снова я.

— Понимаю! — сказал пан Кохановский с мудрой улыбкой.

2

Это здание как будто сослани в гущу реальной жизни. Стекло-алюминиевый параллелепипед, поставленный вертикально, смотрелся как-то обнажённо и беззащитно в окружении угрюмых заводских корпусов, кирпичных, забытых в небе, никогда не дымящих труб, маневрирующих по обтекающим рельсовым путям железнодорожных тягачей и истеричных электричек.

В кабинетах этого здания производилась на регулярной основе научно-пропагандистская продукция для трансляции её в массы. Тут же попутно ковались кадры для этой работы. Кадрам этим, заседавшим в высоченном здании, как бы предлагалось время от времени окидывать взором промышленный пейзаж, подумать о народной жизни, чтобы не забывалось, ради чего они трудятся.

Работа велась по нескольким “направлениям”, и каждому “направлению” полагался целый этаж. В правом торце коридора таились под солидной обивкой обширные кабинеты для заведующего и его заместителя, между кабинетами сидела секретарша, и всё это называлось “главной дирекцией”. В длинный коридор справа и слева выходили двери, за которыми располагались отделы. В каждом сидел руководитель и два-три рядовых специалиста. Напротив лифтовой площадки находилось машбюро, трещащее зубодробительными трелями электрических “ятраней”. Так что каждый посетитель сразу же из лифтовой кабины нырял прямо в оскалённую пасть здешней бюрократической машины.

Учреждение было плодом совместного творчества Академии наук и ЦК ВЛКСМ, что сказалось на внутреннем его устройстве. Академия дала в общий котел какое-то количество своих традиционных дисциплин, комсомол — без счета активной молодежи и немалые финансовые фонды. Должен был получиться слав в точности и порыва, слав знания и энтузиазма, таков был замысел высшей власти. Как он был реализован?

Всё поле работы было разбито, как уже упоминалось, на основные направления: “молодёжный коммунизм”, “молодёжная техника”, “молодёжь на селе”, “молодёжь в армии”, “молодёжь и физика”, “молодёжь и химия”, “молодёжь и природа”, “молодёжь и история”, “молодёжь и путешествия”, “молодёжь и искусство”, “молодёжная музыка”, “молодёжь и строительство”... В обиходном употреблении слово “молодёжь” обычно опускалось, и упоминались только “физика”, “музыка” и т. д.

Работа специалистов требовала сочетания двух разнонаправленных дарований. С одной стороны, специалист должен был по-настоящему разбираться в той области знаний, что была за ним закреплена, с другой стороны — обладать организаторским даром, умением привлечь к работе активных людей для ведения пропагандистской, лекторской работы в данной области. Но когда над чем-то работаешь всерьёз, не остаётся времени для организационных усилий, а когда занимаешься организацией, нет времени во что бы то ни было вникать глубоко.

Люди для работы в ЦБПЗ требовались особенные, но, как это всегда бывает, таких не хватало, и поэтому на работу брали разных людей. Кто-то приходил из журналистики, кто-то сбегал из конструкторских бюро, обнаружив у себя отсутствие конструкторских способностей, хватало бывших учи-

телей из числа тех, что ненавидели детей. Бывшие комсомольские работники среднего звена заполняли половину руководящих должностей во всех “направлениях”. Настоящие большие ученые трудились большей частью в ЦБПЗ по совместительству, присовокупляя здешнюю зарплату к жалованью заведующего кафедрой и главного редактора специального журнала. Таких начальников любили подчинённые, потому что видели их редко. Еще за то, что они разумно не давали себе труда вникнуть в систему склок и подсиживания, которые неизбежно зарождались в любом долго функционирующем коллективе.

Второй важнейшей частью рабочего состава были лекторы-пропагандисты. Те, кому надлежало непосредственно “зомбировать” в духе последних постановлений партии молодёжные массы.

Солидные, успешные и даже просто перспективные ученые на эту мелкую работу шли редко. Вокруг соответствующих отделов группировались разного рода расстриги от академической науки, изобретатели-энтузиасты, так и не нашедшие применения своим изобретениям “из-за интриги”. Активисты из пограничных областей. Паранормальщики, почувствовавшие на каком-то участке слабость в обороне традиционной науки, слетались в учреждение, как осы на сырую говядину. Были и ископаемые экземпляры, читавшие свои лекционные курсы о жизни на Марсе ещё во времена “Карнавальной ночи”, и их было немало, удивительно живучий класс. Их терпели, потому что кадров не хватало.

Не всегда лекторы сами приходили к специалистам ЦБПЗ, часто специалисты выезжали на места, где краткосрочно, но насыщенно руководили лекторскими семинарами. Потом обученные, подружившиеся провинциалы сваливались в Москву с омулями, судаками и опять-таки коньяками, и взаимопонимание выходило на новые уровни.

Одним словом, работа “специалиста” ЦБПЗ была значительной и интересной. Лариса по складу характера подходила для неё как нельзя лучше.

Сразу несколько человек считали, что помогли ей с устройством. Мама Рули якобы замолвила словечко важным людям в аппарате Академии наук, “ведь девочка, в конце концов, нам не чужая”.

Сын космонавта имел одноклассника, подвизавшегося в аппарате ЦК ВЛКСМ, и как-то выпил с ним хересу и упомянул об одной толковой выпускнице одного педа.

Лариса имела основания полагать, что всё случилось само собой: пришла, написала заявление, через два дня получила положительный ответ.

Как всегда, в коллектив влилась легко, сделалась одним из заметных персонажей, хотя должность была из вполне заурядных. Как-то незаметно сложилось, что Лариса оказалась ответственной за всю разъездную работу своего “направления”. Другие специалисты охотно предоставили ей всю власть в этой области. Народ попался в основном по характеру осёдлый.

Самое время сказать, что это направление называлось — “История”. Молодежь и история — понятия, далековато друг от друга отстоящие, тем интереснее моменты их сближения, любил говорить руководитель Михаил Михайлович Александров, огромный, очень пожилой и очень уважаемый мужчина, фронтовик, доктор наук, в недалёком прошлом работник ЦК, причём не комсомольского, а “большого”. Он был так броваст, словно после смерти Брежнева к нему перешло право на пользование его растительностью. Он был корректен с подчинёнными, лично порядочен, без блеска, чуть тугодумно компетентен, заседал в целом ряде комиссий, даже и международных. Фронтовик из подлинных, капитан морской пехоты, герой и красавец. Могаясь по заграницам, завел себе щегольский, со вкусом подобранный гардероб и редкое хобби — коллекционировал банки с растворимым кофе. К моменту появления Ларочки в пределах исторического “направления” ему было шестьдесят с чем-то лет, и у него было семьдесят с чем-то кофейных банок.

Михаил Михайлович охотно признал право Ларочки на манипулирование разъездной политикой направления. Она взяла на себя все неприятные

моменты, связанные с её формированием, она безжалостно и решительно урезала список желающих прокатиться на семинар в Таллин и умела выкрутить руки нужному количеству слишком занятых и хворых, чтобы сформировать полноценную делегацию в Нижний Тагил.

Спустя примерно девять месяцев работы Лариса пришла к Михаилу Михайловичу и, твердо глядя ему в глаза, сказала, что роль простого, то есть рядового консультанта как-то ей не пристала, раз она уже так давно и столь успешно ведёт явно руководящую работу. Надо помнить, что это был 1987 год, стояла на дворе ещё густая советская власть.

Фронтовик смутился.

Вздохнул, философски отмечая про себя, что, избегая одного вида хлопот, обязательно получишь со временем другой. Закрыл тему командировок, получи другую тему.

Отказать Ларочке он не мог. Он попытался схитрить, сыграть на косности штатного расписания. “Да я бы для вас что угодно, Ларочка, но у меня нет свободной должности завотделом”.

— А и не надо, с меня хватит и старшего консультанта.

Лариса улыбнулась шефу, и он понял, что попал в собственную ловушку. Он сам признал, что она достойна номенклатурного поста, так что нет никаких оснований отказывать ей в poste промежуточном, тем более что он имеется в наличии. И прямо в том самом отделе “Истории Великой Отечественной войны”, в котором трудилась просительница. Закавыка была в том, что должность эту он обещал тихому, работающему человеку, Валериану Борисовичу Воробьеву — у того начинался предпенсионный год.

Михаил Михайлович понимал, что он не только имеет право отказать чуть зарвавшейся активистке, но даже и обязан, но не мог. Нужно было пойти на конфликт, выплеснуть порцию адреналина из старых надпочечников, но как раз этого делать было и нельзя. Так говорили ему врачи, а с возрастом начинаешь им верить.

— Я подумаю, — сказал он и интеллигентно улыбнулся. Он поклялся себе, что ни за что не даст этой девчонке протаранить его пусть и ослабленную болезнью, но всё же живую нравственную изгородь. Придётся схитрить по слабости стариковской натуры, например, уходя в отпуск, подписать приказ о назначении Воробьева, а по возвращении сослаться на забывчивость.

Всю серьёзность положения он осознал, когда в течение дня к нему в кабинет забрели по разным поводам все заведующие отделами, и все, в сущности, с одним и тем же разговором. Первым, как ни странно, миляга Тойво Ираклиевич Нери со своей разумной трубкой, мягкой усмешкой и бесконечной лысиной. Человек, интеллигентно игравший в независимость, в том же примерно стиле, что и вся тогдашняя Прибалтика. Далее — обожатель начальства, доходящий в своей любви иногда до яростных форм, Карает Караетович Бабуян. Явился, разумеется, и красавец Милован Раскадровский, полусерб, полуполяк, кандидат наук и кандидат на свободное место в каждой женской кровати. Все они пели разными голосами, но про одно — Ларочка, Ларочка, Ларочка, как же ей при её нагрузках и представительских хлопотах быть в рядовых. А Воробьев вообще странный, его никто не любит, всех достоинств — хороший работник.

Ладно, подумал Михаил Михайлович, делая вид, что не слышит этого хора. Сразу после отпуска надо было ехать в Братиславу, он думал отказаться (у него уже был в коллекции словацкий кофе), а теперь передумает. А из Братиславы на больничный. Что это ещё такое, кто в доме хозяин?

Итак, ситуация в “Истории” зависла в состоянии опасного равновесия. Все ждали, когда шеф надумает, и что. А тут недра комсомольского ЦК извергли в “Историю” ещё одного деятеля. “Может ли быть душа у менеджера среднего звена?” — спросит лет через двадцать после описываемых событий один философ-прикладник. Так думали почти все специалисты и консультанты ЦБПЗ, не имевшие отношения к номенклатуре.

Лариса начала знакомство со своим новым коллективом в буфете, где оказалась за одним длинным кофейным столом сразу с пятью или шестью специалистами из разных “направлений”. Они покуривали, жевали сосиски с горошком, пельмени и всяческими способами иронизировали в адрес своего прямого начальства, в адрес начальства комсомольского, доходили и до верховного руководства. Доставалось и Горбачёву, а особенно Лигачёву, шадил Яковлева и ждали больших перемен. По самому советскому строю за время этого не слишком продолжительного буфетного заседания было нанесено несколько острых анекдотных ударов. “Иностранца, посетившего Союз, спрашивают, что ему у нас понравилось? Дети, отвечает. Почему дети? Потому что всё, что вы делаете руками...” Рассказывал самые злые анекдоты бородач с боксерским носом и липкой на вид лысиной. “Кто это?” — спросила Лариса у своих. “А, Саша Белов из “Молодого коммуниста”. Он часто заходит в наш корпус”.

Сначала Лариса подумала, что она просто попала в такую особенную небольшую компанию свободных умов, резких презрителей бездарного режима. Но через неделю поняла, что подобным образом настроены абсолютно все. Не только работники “Истории”, но и те, кто трудится в “Физике”, “Химии”, “Технике” и “Искусстве”. Впрочем, ничего особенно нового она не услышала в этом буфете в сравнении с тем, что ей приходилось слышать в Рулиной компании или Питиримовой.

Но что-то новое, однако, было.

Если фарцовщики и крестоносцы всё же имели какие-то основания для неприязни к строю — он мешал им торговать джинсами и путешествовать по монастырям, и они ненавидели его как бы за свой счёт, то работники ЦБПЗ поносили строй, у которого брали деньги на жизнь, и достаточно много, и очень охотно.

Впрочем, отмечая это, Лариса не вспыхивала порицательным пафосом и не проникалась презрением. Она скорее обучалась уставу здешнего монастыря.

Муж Галки, секретарши Михаила Михайловича, слушатель ВПШ, закатившись как-то на корпоративные посиделки в “Историю”, рассказывает сотрудникам тот же самый анекдот, что и Саша Белов. Все принуждённо хихикают, но никому не приходит в голову, что это слишком для слушателя такого заведения. Только Воробьёв встал, виновато улыбаясь, и вышел из помещения.

Свалившийся в “Историю” новый зам Михаила Михайловича, некто Николай Николаевич Пызин, попытался показать, что не собирается совсем уж безропотно плыть по течению вредных общественных настроений.

Перестройка?

Ладно, пусть перестройка, но не все же позиции сдавать сразу и безропотно. Власть у нас в стране пока ещё советская, и ЦБПЗ есть один из опорных её камней.

Закручивание гаек началось с усиления антиалкогольной кампании в то время, когда в целом по стране шло её ослабление. Пить на работе стало менее комфортно, хотя пить меньше, конечно, не стали. Пызин заработал на этом деле первые отрицательные баллы.

Потом — режим. Он искони был либеральным. Все, кроме Тамилы Максимовны, секретаря редакции, которой всё равно не спалось, являлись в присутствие к двенадцати часам. Пызин потребовал, чтобы в каждом отделе хотя бы один человек дежурил с десяти. Бред! Зачем? От поверхностных гаек перешёл к гайкам внутри творческого механизма “Истории”.

Ударить по всем сразу было трудно, надо было выбрать наиболее уязвимую фигуру. И, конечно, выбрали армянина. Карапет Бабуян попал под удар, очень мало этого заслуживая.

Это был человек сосредоточенный, коротконогий, в тяжёлых очках, ко всему относившийся серьёзно. Он никогда ни в малейшей степени не позволял себе никаких идеологических вылазок против партийного курса в своей

области и всячески демонстрировал свою преданность шефу. С самым серьёзным видом на общих собраниях говорил, что считает главным счастьем своей жизни факт работы под началом такого заслуженного и авторитетного человека — Михаила Михайловича Александра. Михаил Михайлович морщился, вяло одергивал лъстеца, чем только возбуждал его, вызывая новые валы ещё более откровенных похвал, высказанных уже почти с надрывом. На все дни рождения шефа Карапет Карапетович привозил целую кастрюлю долмы, приготовленную мамой специально ради такого события, а также бастурму, коньяк и т. п. В общем, казалось — позиции этого зава незыблемы. Но Пызин разведдал, что Карапет Карапетович слишком по-особенному формирует штат своих лекторов. Там оказались сплошь армяне, или женатые на армянках, или армянские друзья. Причём для всех для них была организована специально продуманная схема задействия, которая предполагала минимум трудозатрат и максимальные ставки оплаты. В общем, трудно сказать, так ли оно обстояло на самом деле, но захотевший придраться — придерётся.

Когда Пызин пришёл с этим никому не нужным компроматом к шефу, тот опять сильно заскучал. Ссориться с армянским кланом ему не хотелось, но ссориться с властью, которую в данном варианте представлял дурак Пызин, хотелось ещё меньше.

— Чего же ты хочешь? — устало и иронично спросил Михаил Михайлович. Комсомолец не понял иронии и потребовал, чтобы большая часть армян была заменена.

На кого?

Есть кандидатуры. Пызин имел большие связи в кадровых структурах ЦК, и ему не составило труда подобрать подходящих людей, выраженных неармян, для соответствующей работы.

Его сразу обозвали — Ататюрк, хотя информированные люди говорили, что прозвище не совсем справедливое, ведь упомянутый персонаж армян не резал, да и тюрком вроде как был не вполне, но кому дело до таких тонкостей.

На жизни Ларисы пызинское руководство отражалось мало, она легко обходила новые подводные камни. Как раз в это время она развернула обработку общественного мнения в нужном для себя направлении.

Тойво был нейтрализован хорошо продуманными похвалами в адрес эстонской прозы. Лариса назвала Карапета во время одного из совместных походов в буфет “императорским безумцем”, намекая на его неумеренно восторженное отношение к шефу, показывая тем самым, что ей нравится роман Яана Кресса, которого Тойво ботворил. Его независимая позиция в редакционном раскладе, формулировавшаяся как “один на льдине” в память о сидевшем за сталинской проволокой отце, дала трещину. Он, как уже сообщалось, пошёл лоббировать Лару в кабинет Михаила Михайловича.

Пан Милован в обработке и не нуждался, ему достаточно было узнать желание дамы, и он вскакивал, прижимая обе ладони к сердцу. “Серб и молод”, — называл его Питирим. Да, этот мужчина всегда был готов к услугам.

Галку Лара тоже успокоила. Для этого хватило всего лишь одной грубоватой фразы о том, что она для достижения заветного кресла не пойдёт банальным женским путём, и не потому, что не интересуется антиквариатом. Соркалетняя машинистка оценила жест доброй воли, ей действительно не хотелось терять своего статуса, при котором она по умолчанию причислялась к творческим работникам и имела возможность являться на работу не к десяти, а к двенадцати, плюс и ряд других маленьких, но приятных исключений.

Провинциалов в “Истории” было двое, оба совсем недавно были приняты на работу, и оба попали под власть Ларочки, хотя и числились по другим отделам. Оба были совсем недавними выпускниками одного истфака, только разных потоков. Одного звали Прокопенко: хохол из Нежина, третий сын в большом, сытом, крепком семействе своего добротного деревенского батьки, и сам уже к моменту вступления в должность в “Истории” отец двойни и приймак в номенклатурном семействе с Кутузовского проспекта. Он отвечал за Древнюю Русь, отвечал спокойно, по большей части помалкивая и прият-

но улыбаясь в ответ и на похвалы, и на критику. Про таких говорят, что с них как с гуся вода, где сядешь, там и слезешь. Ларочку он интересовал мало и лишь слегка раздражал своей кажущейся неуязвимостью и полнейшим благополучием.

Но немного на этом участке Лариса всё же поработала.

Сначала она попробовала вменить Прокопенке его хохляцкость. Мол, народ-предатель, украинские полицаи сожгли Хатынь (это она знала по должности как сотрудник отдела Великой Отечественной), вечное мазенство украинской души и так далее. Но Петро только похохатывал и ласково улыбался большим, добрым лицом и поглаживал круглую щеку. А на общих распивочных заседаниях красиво, тихо пел “Ничь яка мисячна”, и всем было понятно, что он в полнейшем умилении от своего украинства.

Второй наезд была произведён по факту его приямчества. Мол, приспособленец, схватился за бабий подол, который был приделан к московской прописке, и это подло. В ответ Петро демонстрировал фотки своих дочек-куколок, а однажды в редакцию захала его супруга, и всем стало ясно, особенно Ларочке, что брак этот по страсти.

Пришлось отступать, и чтобы это не выглядело как полное поражение, Лариса вела арьергардные бои на тему невыносимого самодовольного благополучия Прокопенки. Видите ли, у него всё хорошо, и дети, и жинка, и все родители со всех сторон живы, и работа ему нравится. Нет никакого повода даже для лёгкого душевного свербления. Стыдно быть таким сыром в таком масле.

Второй новичок был для Ларисы, собственно, и не новичок. Мир всё же тесен. Алеша Попович, дружок Маркса и Энгельса, белорусский подросток из поселка при Жировицком монастыре. При таких встречах кричат “Ба!”, и Лариса крикнула, паренек съезжился, как будто его сейчас накажут. Он стал ещё суше, чем был, и как-то почернел, стал болезненнее, как будто насквозь пророс нервами, его очень легко было вывести из себя, смутить. Фамилия у него была звучная — Волчок, но как выяснилась, досталась от полесского отчима и не была им любима. Он специализировался в области античной истории и попал под начало к эстонцу, отвечавшему за все Европы разом.

Лариса, только увидев его, сразу поняла, что победа одержана. Тут даже не надо было ничего формировать, заноза вины сидела уже давно в заднем уме этого Волчка, с того самого вечера в пещере Рыбы. Он так много слышал, он так много знает о ней и Пите, что пусть только попробует не смущаться и не отводить глаза при разговоре с пани будущим старшим консультантом.

Лариса не порвала свои связи с прошлым. Найдя своё место в учреждении, она наподобие магнита стала стягивать к себе множество разного прежнего народа. В той или иной степени были привлечены к работе и общению и сын космонавта, и Энгельс, и девчонки из пединститута, и Саша, и Марина, и другие. Саша и Марина не стремились с нею сблизиться, видимо признавая своё подчинённое положение. Так что вес Лары в конторе обеспечивался ещё и наличием разноцветного человеческого шлейфа, тянущегося за ней. Её знакомые были ввинчены в работу почти всех отделов в том или ином качестве, что обеспечивало хорошую остойчивость кораблю её карьеры.

Кабинет истории Великой Отечественной был самым большим, что понятно. Лариса так расположила шкафы, столы и прочую мебель, положенную отделу по штату, что выгородился уютный и обширный анклав, обладающий правами почти полного суверенитета. Ни начальник Голубев, ни тихий претендент Воробьёв не рисковали проникать за ограду, уставленную по верху горшками с редкими кактусами, увитую гирляндами невероятных висячих растений. Всё это были подарки от направления “Природа”, с которым Ларочка сдружилась во время какой-то совместной командировки и теперь частенько приглашала к себе на посиделки. Поводов для их устройства всегда было более чем достаточно.

Явился однажды, в это трудно поверить, неудачливый ухажёр Гарик. Прошли годы после того памятного похода в “Метелицу”, и за всё это время он никак не сигнализировал о себе. Лариса столкнулась с ним всего месяц на-

зад, случайно, буквально в метро, и пригласила “на свою территорию”.

И он пришёл.

Всё главное при нём всё же осталось: рост, стать, успешность, судя по двум огромным кулкам, набитым бутылками и банками из “Берёзки”, к тому времени ещё сохранявшей своё значение. Но многое и изменилось. Отпала начисто пошлая кличка Мангал. Он стал как хорошая машина, очищенная от наглого тюнинга. Просто очень видный, качественный мужчина.

Хозяйка отворила створки шкафа, достала оттуда поднос с чисто вымытой с прошлого раза посудой — стоическая провинциальная чистоплотность не покинула её за прошедшие московские годы, — и стала накрывать на стол, с которого решительно смела рабочие бумаги.

Гарик сел в углу, осторожно улыбаясь.

— Ну, как ты, что ты? — искоса поглядывала на мужчину Лара. — Тебе не кажется, что это судьба — встретились в метро!

Она сказала это как бы в шутку.

Гарик пожал плечами. Было видно, что он испытывал сложные чувства. Могло показаться, что он жалел о своём приходе, но одновременно считал его в каком-то смысле своим долгом. Лариса именно так объясняла себе его зажатость. Тогда, в “Метелице”, его роль была довольно мерзкой. Пусть повернется как уж на сковородке. Он не знает, что будет прощён сегодня к концу вечера. Но моральную плату должен внести, душевные муки полируют мужчину перед употреблением.

Там, в метро, Лариса приглашала его легко, как бы без подтекста, но это могло быть приёмом особенно тщательной маскировки. Надо быть начеку. И он был настолько начеку, что это было многим заметно.

Первым явился незваный и страшно расстроенный Карапет Карапетович. Не поздоровался, сел, развалив на стуле коротенькие толстенные ноги.

— Что случилось?

— Добрался до Григола Ашотовича.

— Вот сволочь! — продолжая автоматически что-то нарезать, ответила Лариса.

— Ну почему, почему, объясните мне, армянин не может читать лекции о Куликовской битве?!

Гарик, к которому почему-то был обращён вопрос, пожал плечами. Он почти не был армянином, у него здесь было своё дело, и ни во что больше он вмешиваться не хотел.

— А что Пызин говорит?

— Он говорит, Ларочка, что Куликовское поле — поле русской боевой славы.

— И это правильно, — веско заметила Лариса. — Всё правильно.

— Так Григол Ашотович говорит то же самое!

— Поле, русское по-оле... — пропела, входя, Галка. Увидев незнакомого, да ещё “упакованного” мужика, она добавила к “сопрано” ещё и покачивание бёдер.

— А что касается полей, Карапетушка, то вот, посмотрите на него. Он...

Все посмотрели на вошедшего Волчка, и тот невольно потемнел под взглядами.

— ...утверждает, что на, допустим, Бородинском поле мы не победили, а проиграли. Поте-ери у нас были больше, позицию мы бросили после всего, столи-ищу оставили, мол, военная наука всё это зовёт поражением. Но всем же понятно, что это ерунда собачья. Великая победа есть великая победа.

— При чём здесь Григол Ашотович? — тихо проныл Карапет.

Волчок развернулся и вышел вон.

— Захвати там соль! — крикнула Галка сквозь клуб выдыхаемого дыма.

— Он не вернётся, — сказала Лариса. — Придётся тебе сходить самой.

— О, Милок сходит, — вывернулась машинистка, показывая на вошедшего серба. Ей хотелось задать какой-нибудь затравочный для знакомства вопрос незнакомцу в дорогом костюме, но Лариса с помощью мелких, но непрерывных манипуляций уводила её с удобной позиции.

— А что это мы тянем? — спросил Милован, вертя в руках бутылку джина “Гордон”.

— Без соли, Слава, нельзя.

— Это текилу пьют с солью, Галочка.

— Вы любите текилу? — наконец прорвалась машинистка, но в ответ на этот вопрос Гарик тоже отделался пожатием плеч.

— Он просто меня выживает, — почти бесшумно вздохнул Карапет.

— Пусть идёт ко мне, — сказала Лариса, увидев, что в комнату вернулся Волчок с тарелочкой соли. — Пусть твой Григол идёт ко мне. Будет читать про Прохоровское поле.

Волчок поставил блюдо и снова вышел. Прокопенко вздохнул ему вслед, ему тоже хотелось уйти, но не было повода. Энгельс положил в рот ещё один кусок сервелата. Это он был пособником травли Волчка. Причём без всякого злого умысла, просто в силу энциклопедического склада ума. Волчок как-то заявил, что битву при Бородино мы проиграли, “ведь Клаузевиц...”. И Энгельс устроил ему форменную детальную, исчерпывающую порку тем самым Клаузевицем наотмашь. Парень был повержен и как мыслитель и как патриот.

Лариса тогда гордо улыбалась ему в несчастное лицо, гордясь своим Энгельсом. Тот вздыхал. Человеку, знающему истину, всегда кого-нибудь жалко.

— А правда, что текилу делают из кактусов? — наклонилась Галка к гостю.

— Ага, — кивнул много попивший и повидавший Милован, — а джин из можжевельника.

Энгельс попытался приступить к своему обычному занятию.

— Не совсем из кактусов, это голубая агава...

— Молчи, энциклопедия, молчи, как грусть, — оборвала его Лариса. — Я хочу поднять тост. За те встречи, что иногда происходят в метро.

Все выпили, даже Карапет Карапетович. Но вместо закуски он наклонился к хозяйке и спросил:

— А вы, правда, можете взять Григола Ашотовича к себе?

— Я вас когда-нибудь бросала в беде, Карапет?

— Наша главная беда случилась в пятнадцатом году, и тогда нас бросили все.

Но никто не услышал этих слов.

После джина стали пить коньяк. Кто-то уходил, кто-то приходил, разговор становился всё громче. Галка ткнула немым пальцем в шкаф, подразумевая остальную часть комнаты, мол, а как они, Голубь с Воробьём?

— А я сейчас растормошу эту голубую агаву! — Лариса решительно встала и вышла на сопредельную территорию. Вместе с рюмкой коньяку.

— Мы вам не мешаем?

Птичьи люди синхронно замотали головами: нет, нет, нисколько.

— Тогда, может быть, вы к нам присоединитесь, у меня такое событие. Снова синхронное качание голов, нет, нет, спасибо.

Лариса вернулась к себе, встреченная восхищёнными взглядами и прысканьем зажатых ртов. Уже через несколько минут с сопредельной территории началась тихая эвакуация. Благо до окончания рабочего дня оставалось совсем немного времени.

Гарик, до сего момента сидевший почти молча, встал и сказал Ларисе, что хотел бы сказать ей несколько слов. Галка вздохнула, как бы признавая поражение. Милован стал откупоривать последнюю бутылку, какой-то вискарик.

Лариса, держа пальцами правой руки сигарету, пальцами левой рюмку, проследовала за оградой. Гарик смущался. Она смотрела на него победоносно, уверенная, что в её силах прекратить его мучения, какими бы они ни были.

— Знаешь, я давно хотел с тобой поговорить. Так и так, всё выяснится.

— Лучше не здесь, пойдём в коридор.

В коридоре было довольно темно, но Гарик продолжал смущаться. Что, по мнению Ларисы, было странно для владельца кооперативного кафе. Эту информацию вытянула из него Галка, и Лариса была довольна, что ей не пришлось это делать самой.

— Не вздыхай, говори.

Из дверей “главной реакции” вышел Карапет Карапетович, вид у него даже в полумраке коридора был страшный. В голосе был трагический трепет.

— Он говорит, что и Офелия Дерениковна должна уйти.

Лариса закатила глаза, просигнализировала Гарику сигаретой и повела за собой на площадку к лифтам. В огромное окно рвался рьяный, звучный ливень, как бы призывая участников разговора не скрывать своих сильных чувств.

— Тогда была “Метелица”, а сейчас дождище.

Гарик кивнул, он всё понимал.

Послышались шаги по коридору. К лифтам вышагнула огромная фигура шефа, даже дождь за окном как бы немного смутился и снизил напор, признавая важность этого человека.

— До свидания, — сказал Михаил Михайлович, хотя слышалось: пошли вы все к чёртовой матери — и погрузился в подошедшую кабину.

— До свидания. — Лариса скорчила ему рожу вслед и повернулась к Гарику.

— Знаешь, здесь нам не дадут поговорить.

— Почему? Вообще-то всё хорошо, я так рад, всё как-то само собой разрешилось, я ведь слегка, и даже не слегка, перед тобой виноват. Я думал, что ты догадываешься, ну, что я не сам, что меня, как бы это сказать, попросили. Тогда. В “Метелице”.

Лариса хлопнула его по плечу как старый товарищ.

— Да ладно тебе, всё я давно поняла. Эти тетки, Элеонора и Нора, хотели от меня избавиться и одновременно хотели использовать, по принципу — с паршивой овцы хоть шерсти клок. И изящно так подкладывали под полезных старичков, вернее пытались. А ты даже не старичок.

Гарик стоял, потупив глаза, в позе, совсем не характерной для бравого кооператора, и осторожно отряхивал рукав, и это могло выглядеть как просьба: не надо мне ваших откровений. Прямолинейная откровенность собеседницы его смущала. Он уже по-настоящему жалел, что приехал.

Лариса отхлебнула из принесённого с собой стакана.

— Ты знаешь, поехали к тебе, там всё и обсудим. У тебя там есть ещё что выпить?

— Что?

— Что выпить есть?

— Вообще поехали, конечно, — забормотал Гарик, тускнея, — Мариша будет рада с тобой увидеться.

— Какая Мариша? — спросила Лариса, уже отлично понимая, о ком идёт речь.

Значит, он тогда уехал из “Метелицы” не один. Ну да. И не втроем.

— Поженились?

Гарик потупился.

— Не сразу.

— Понимаю, что не сразу. А что же я ничего не знала?

Гарик щелкнул зажигалкой, сигарета с первого раза не зажглась.

— Не хотели меня расстраивать, голубки?

— Марина всё собиралась тебе сказать. Уже когда устроилась к вам в “Историю”.

— Она уже почти год тут работает.

— Всё собиралась, собиралась... — Гарик был очень смущён.

— Понятно.

Консультант Волчок сидел один в кабинете, сегодня была его очередь дежурить с утра, и листал толстый том в солидном переплёте. Листал правой рукой, левой ерошил короткую причёску. Носился взглядом по страницам, предвкушающе привставал, нащупав что-то в тексте, и плюхался обратно на

стул, если блестящая информация его разочаровывала при тщательном рассмотрении. Волчок готовился к сегодняшнему заседанию отдела. Тойво пригласил двух новых кандидатов в лекторскую группу, и в половине первого должно было состояться собеседование. Волчок хорошо понимал двусмысленность своего положения в отделе, его взяли на работу не в полном соответствии с планами эстонца. Тот, будучи человеком хорошо воспитанным, всё время давал это понять своему новому сотруднику, но в такой форме, что открыто обижаться было бы нелепо.

Оставался один путь самоутверждения — доказать, что принят по праву, что является самостоятельной интеллектуальной фигурой. Он давно уже, с ранних институтских пор вывел для себя, что все свои выходы в люди, даже самые мелкие, надо тщательно готовить. Полагаться на общий образовательный уровень глупо, а на свою сообразительность ещё глупее. Каждый раз, отправляясь в какую-нибудь смешанную компанию, он зазубривал несколько редких и точных сведений из любой области человеческого знания. Например, что на острове Сулавеси основным видом вероисповедания является протестантизм. Для достижения успеха в беседе нужно было всего лишь подвести общий разговор к ситуации, в которой выступление с этой информацией выглядело бы естественно.

А для подтверждения своего интеллектуального класса, в ответ на удивлённый вопрос кого-нибудь из сомневающихся — а почему это протестантизм? — следовал не менее подготовленный ответ: потому что это бывшая голландская колония.

Очень хорошо себя показывало предварительное чтение Даля и Фасмера. Там Волчок обязательно накапывал пару-тройку изюминок и терпеливо сидел в уголке, ожидая случая, когда можно будет выставить локоть и выйти в первый ряд.

Случай с Бородинским полем не скомпрометировал окончательно его старый метод, а лишь явился сигналом того, что впредь вылазки следует готовить тщательнее.

Вот!

Консультант хлопнул ладонями по распахнутым страницам. Почти что эврика!

“По эдикту императора Каракаллы от 212 года н. э. всем жителям империи было даровано римское гражданство”.

Один из сегодняшних визитёров эстонца — специалист по муниципальному устройству Римской империи. Он, тихий консультант Волчок, сядет сегодня тихонько рядышком со столом Тойво и станет терпеливо ждать момента, когда можно будет уместно выступить с этой интеллектуальной репризой. Второй гость — собаку съел на гуситах. Молодой сотрудник вздохнул — придёте слазить и в этот колодец.

И тут раздался телефонный звонок.

— Ну, здравствуй.

Сердце консультанта засуетилось.

— Ладно, ты не являешься патриотом своего отечества, но, по крайней мере, патриотом своего родного коллектива ты должен быть.

В принципе консультант понимал, что Лариса шутит, но шутка эта парализовала его волю, и он стал сморщиваться, как бы стараясь хоть в уменьшенном виде выскользнуть из-под внезапного морального пресса.

— Так ты не ответил, ты готов искупить вину?

Это тоже была шутка, но требовавшая самого серьёзного ответа.

— У меня скоро заседание отдела.

Лариса даже не дослушала до конца.

— Ты сейчас пойдёшь к Тортиле, возьмёшь у неё пятнадцать рублей, потом возьмёшь две бутылки шампанского и такси, и записывай адрес.

Волчок взял ручку и стал записывать, отлично понимая, что он не в состоянии выполнить это задание. Однако же и не в состоянии не выполнить.

— Всё. В крайнем случае, можешь взять четыре бутылки “ркацители”. И не томи. Тут погибает добрая половина доблестного экипажа. Пока ещё добрая. Не превращайся во врага народа.

Волчок несколько минут сидел на своём месте, поигрывая трубкой, боясь положить её на место. Чем дальше, тем отчётливей становилось — ехать придётся.

Но деньги?

Он и так был должен Тамиле Ивановне двенадцать рублей в общак. Просто возьмёт и не даст. Тем более столько. Да ещё посмотрит со всей черепашной мудростью поверх очков.

Но побрёл в предбанник. Сел на стул рядом со столом секретарши, она посмотрела на него, опустив очки, но ничего не сказала. Консультант кое-как собрал в голове конструкцию из слов, которую можно было попытаться предъявить Тамиле Ивановне, но в этот момент распахнулась дверь в кабинет Пызина, и оттуда вылетел Карапет Карапетович. Он и не подумал здороваться с Волчком и тут же нырнул в кабинет шефа.

Тамила Ивановна многозначительно выпятила губы и подняла брови, мол, бог знает что происходит, все припёрлись в такую рань и чудят.

В кабинете шефа Карапет Карапетович пробыл совсем недолго, вышел оттуда медленно и задумчиво. Постоял у стола Тамилы Ивановны, мелко тарбанил по нему толстыми пальцами.

— Ну что, Карапетик? — спросила Тортила.

Он ничего не ответил и пошёл прочь из главной дирекции. Тамила Ивановна бросилась было за ним, “Карапетик, Карапетик!”, но при её черепаших скоростях это было бесполезно. Вернулась, вздыхая, села и стала протирать очки.

— А вам что, Шура?

Появился зам и решительно, победоносно прошествовал к шефу. Кажется, у него что-то вроде улыбки играло на тонких губах.

— Идите отсюда, Шура, а то...

— Десять рублей.

Тамила Ивановна открыла коричневый железный сейф, достала из мятого конверта две пятёрки. Дорогу на квартиру Галки Перешивиной консультант знал хорошо и неплохо представлял себе, какую картину он там застанет.

У лифта встретил приехавшего на работу явно хорошо позавтракавшего Прокопенко, тот улыбочиво поинтересовался — куда ты? Борясь с гримасой, охватывавшей лицо, Волчок проскользнул в кабину. Ему было неприятно сравнивать себя с ним. И правда, какой незаслуженно благополучный человек. И выпил вчера в меру, и отправился домой, а не в Галкин вертеп. И никому не придёт в голову назначить его алкогольным курьером.

5

Понедельник следующей недели, казалось, не предвещал никаких особенных событий. Без трёх минут двенадцать публика стала подтягиваться к кабинету шефа. Прошли внутрь печальной парой Голубев с Воробьёвым, пронёс свою трубку Тойво. Волчок и Прокопенко явились прежде всех и ждали в предбаннике, чтобы не вламываться первыми. За свою деликатность получили по шпильке от Ларисы, тоже задержавшейся в предбаннике. Прокопенке досталось за то, что сбежал прошлый раз совсем не как товарищ, не проводив дам “хотя бы до авто”. Семейный очаг — это, конечно, хорошо, но у человека есть и другие обязанности. Вот господин Волчонок исправляется.

— Волчок, — поправил молодой человек, но так, словно ему было неудобно за свою несговорчивость.

— Только очень медленно исправляется. Все глаза проглядели, пока дождались твоего муската.

— Я же уже объяснял, метро...

— Тебе было сказано — бери такси!

Открыл свою дверь квадратно улыбающийся Пызин и растопырил руки как бредни, побуждая толпящихся войти в кабинет.

— Прошу, прошу.

В коридоре показалась пара — Милован и Карапет. Милован что-то рассказывал низкорослому коллеге, угрюмо смотревшему в пол. Их обогнала Галка. Как шеф машбюро и профорг она тоже обязана была присутствовать на творческих летучках.

Пызин поглядел на Карапета, дождался, когда последний сотрудник войдёт, подвигал квадратной челюстью, как перед боем, раздул ноздри и шагнул на территорию Михаила Михайловича.

Летучка шла, в общем, обычным порядком. Шеф одних похвалил, других пожурил, сказал своё обычное, что обязанности по поддержанию строгой идеологической дисциплины никто ни с кого не снимал. Партия, да, развивает перестройку, но это не предполагает бардака на местах. Обольщаться не надо, если гайки в настоящий момент не закручивают, это не значит, что их вообще нет.

Тойво, как всегда, прозондировал почву насчет Набокова. Вон еженедельник “Шахматы” уже дал подборку его стихотворений, может и нам, например, “Машеньку” включить в список рекомендуемой литературы?

— Нет. Одно дело шахматы, другое дело — история, — сказал Пызин. Все посмотрели на шефа, он угрюмо кивнул. Но всем было понятно: запрет скоро рухнет, и лектора порвут “Машеньку” на цитаты.

Галка сообщила, что взносы будет принимать у себя сразу после летучки.

— Ну, что ж, — сказал главный, — если ни у кого...

Но тут вскочил Карапет.

— Что у вас? — неприязненно спросил Михаил Михайлович.

Карапет Карапетович несколько секунд борол волнение, потом сказал:

— У меня вопрос.

— Может быть, потом, в рабочем, так сказать, порядке? — дергая щекой, попытался увильнуть шеф.

— Нет, нет, — бодро возразил Пызин, — если Карапет Карапетович хочет спросить, мы всегда можем ответить.

Михаил Михайлович сделал согласный жест руками, пожалуйста, товарищ заместитель, сражайтесь. Пызин встал. Но оскорблённый армянин смотрел не на него.

— Я хочу у вас спросить, Михаил Михайлович...

— У меня? — с некоторым даже наивом в голосе поинтересовался шеф. Мол, я то тут при чём?

— Я хочу спросить у вас, почему вы гоните меня, как собаку, когда этому человеку позволяете всё?

Главный насупился, ему всё это было неприятно, но, вместе с тем, он и успокоился. Карапет явно выходил за рамки приличий, и его можно было одергивать, не обсуждая сути дела.

— Держите себя в руках, Карапет Карапетович.

— Что, если этого человека прислали сверху, то он может топтать людей и издеваться над ними как ему угодно, да, Михаил Михайлович?!

— Ведите себя подобающе, Карапет Карапетович!

Пызин сиял — соперник сорвался. Никто не любит скандалов и скандалистов, а Михаил Михайлович Александров, Пызин это уже понял, особенно сильно не любит. Заместителю можно было уже ничего не говорить, коротышка топил себя сам.

— Вы не ответили мне, Михаил Михайлович!

— В таком тоне беседу я вести не намерен. Заседание окончено.

Волчок сидел у самого выхода из кабинета. Он охотно покинул летучку, на рабочее место не поспешил. У него было крохотное дельце к Тамиле Ивановне — он хотел просить отсрочки по платежам в общак.

Внутри в кабинете ещё что-то негромко кипело. Полностью ушли только Голубев с Воробьёвым, о чём-то очень конфиденциально переговариваясь, очевидно прикидывая, не последует ли вслед за армянским гонением атака на гомосексуалистов.

Остальные толпились в предбаннике.

Лариса перешёптывалась с хитро улыбающимся Милованом, Галка делала большие глазщицы за большими очками, как будто что-то предчувствуя.

Мудрая Тамила Ивановна делала вид, что роется в сейфе, а сама одним глазом незаметно рылась в толпе сослуживцев.

Вышел, наконец, беззвучный, сосредоточенный, весь обрушившийся в себя Карапет. Все сочувственно, но молча на него косились. Он ни на кого не смотрел, он сопел и истекал потом. Было件нятно, что лезть к нему с разговорами не стоит.

Прокопенко молча развернулся и пошёл к себе.

Волчок глубже вжался в стул.

В этот момент открылась дверь кабинета, и на пороге появился Пызин с видом плодотворно потрудившегося человека. Он только что ещё раз объяснил Михаилу Михайловичу, и даже доказал с цифрами в руках, что никакого национального подтекста в его деятельности на посту зама нет, никакими даже отдалённо политическими выводами данная ситуация не чревата. Компетентные люди, из числа тех, что сидят выше, в курсе. Просто им, новым замом, тихо и грамотно ликвидирована многолетняя группка граждан, присосавшихся к гонорарной ведомости “Истории”. Карапет Карапетович — человек с большим сердцем и не может отказать дорогим ему людям. И не только армяне в списке. Вот Инга Вячеславовна Шмит, или Семён Антонович Тенин, они были отсеяны в первую очередь, уж потом дело дошло до всяких Гайков и Вегенов.

Михаил Михайлович мрачно молчал. Несмотря на бодрость зама, дело выглядело поганно. Но в конце концов Карапет виноват, по большому счету, сам. Должно быть чувство меры, и не надо подставлять людей, которые хорошо к тебе относились. Главный отлично знал главное аппаратное правило — чтобы тихо! Можно почти всё, но чтобы без скандала. Это тебе не фронт.

Пызин, выйдя в предбанник, увидел перед собой сопящего коротышку и сдвинул брови — это ещё что такое?

Карапет не стал отвечать на этот немой вопрос и правой рукой нанёс левой щеке победителя сильный удар. Пызина бросило к косяку, и он отступил внутрь кабинета, уронив папку и прижимая руку к скуле.

— Карапет, Карапет, Карапет! — на разные голоса заговорил предбанник. Мстителю ещё несколько раз свирепо выдохнул, сделал несколько быстрых приставных шагов вправо, как балетный, покидающий сцену после удачно выполненного номера, и выскочил вон из главной редакции.

6

Михаил Михайлович вызвал к себе Ларису. Усадил в кресло. Предложил курить. Лариса чувствовала, что сейчас этот большой мужчина ей доверится, и ей было приятно сознавать, что ему в данной ситуации не к кому больше обратиться.

Выяснилось, что Николай Николаевич “встал на формальный путь”. То есть сняты побои, диагностировано сотрясение мозга, написано заявление в милицию, в прокуратуру, ЦК ВЛКСМ поставлен на ноги.

— У нас пока что ещё советская власть, — развёл сильными и несчастными руками шеф, и по его тону было трудно понять, какой смысл он вкладывает в своё заявление.

Лариса кивнула и сообщила шефу, что вся Москва гудит, со всех этажей к Карапету идут делегации со словами поддержки, московские армяне готовят какое-то заявление.

Щеки шефа всё более обвисали после каждого слова. Опускались углы рта и края бровей.

— Боюсь, что до суда дойдёт. Я пытался воззвать, но Пызин закусил удила.

Лариса прищурилась, и у неё обнаружился немного комиссарский разрез глаз.

— Вы считаете, что суда не избежать?

— Нет, Пызин закусил удила, мы или они! — И очень тихо добавил: — Кретин!

— Но, Михаил Михайлович, если Карапета осудят...

— Два года колонии, я наводил справки.

— ...если его осудят, я вам гарантирую всё, вплоть до “Голоса Америки”, даже и справки наводить не надо.

Шеф навалился на стол, максимально приблизив огромное, рыхлое лицо к собеседнице.

— Скажите вашему правдолюбцу, что он бил Пызина не кулаком, что он дал ему пощёчину открытой ладонью. Это был не хулиганский мордобой на рабочем месте, а творческий спор, внезапно перешедший на язык символически оскорбительных жестов. У нас здесь символизм был, а не реализм, чёрт побери!

Лариса дала понять шефу, что она всё поняла.

— Хорошо, Михаил Михайлович, я попытаюсь сделать всё возможное.

...Трудней всего, как ни странно, пришлось с самим Карапетом. Он хотел пострадать.

— Да, я дал ему по морде, да, на рабочем месте, да, кулаком! Вот этим кулаком. Пускай судят, я хочу, чтобы на меня надели наручники. Я хочу в тюрьму. Все приличные русские люди сидели в тюрьме.

Тойво с Милованом иронически переглядывались, Галка и Тамила Ивановна причитали, восхищённо и озабоченно, разве что не по-армянски.

Как тени промелькнули Голубев и Воробьёв. Один мгновенно пожал предплечье Карапету, другой запястье — держись, борец!

Лариса вела допрос свидетелей.

— Где вы были в тот самый момент?

— Я уже ушёл, — спокойно ответил Прокопенко.

— Ну да, я забыла, у тебя, как всегда, всё в порядке. Человека посадят, а у тебя всё в порядке.

— Я хочу, чтобы меня посадили! — коротко вскинулся Карапет, уговаривающие руки Галки и Тамилы Ивановны усаживали его обратно, поили кофе, гладили по неровной голове.

Прокопенко встал и вышел. Лариса повернулась к Волчку.

— А ты?

Волчок видел всё, видел пухлый, отчаянный кулак Карапета, видел его соприкосновение с челюстью Пызина. Пожалуй, от такого удара и челюсть может треснуть. Но сказать правду не то что на суде, но даже здесь, перед лицом возбуждённого коллектива, было нереально.

— Что ты молчишь?

— Я ничего не видел.

— Как подсмотреть какую-нибудь гадость, ты всегда тут как тут, а когда нужно спасти человека, ты глазёнки в пол, понятно!

Молодой человек страдал невыносимо, тем более что обвинение Ларисы было построено таким образом, что било сразу по двум болевым точкам в уязвимой совести молодого консультанта. Она могла намекать и на его невольное свидетельство её давнего грехопадения, и на антипатриотический прокол недавних дней. Скорее, второе. Конечно, второе. Хотел блеснуть свободомыслием, а просто выпростал предательский волчий хвост.

— Но я ничего не видел!

— Да ладно, слепец, только ты не Гомер, ты Паниковский.

Молодой человек наклонил голову. Когда идут прямые грубые оскорбления, становится немного легче, чем в те моменты, когда изящно пытаются совесть.

— Я ничего не видел.

— Ну и что? А просто выйти и сказать — была пощёчина, граждане судьи!

Карапет опять рванулся, как Прометей со скалы, но оковы женских рук вернули его обратно.

— Это лжесвидетельство, я не хочу, чтобы меня защищали такими методами. Не соглашайтесь, Шура. Я отсижу свои три, или даже девять лет, отсижу, но я буду знать, что наказал подлеца.

— По-хорошему, тебе бы надо было дать по морде шефу, а ты побоялся, — сказал Тойво негромко и в трубку.

— Что ты сказал?!

Тойво достал трубку изо рта и отрицательно помахал ею в воздухе.

— Это так, мысли вообще. И в сторону.

— Ты куда? — спросила Лариса у Волчка.

— Я ничего не видел.

— Не важно, постой.

— Я хочу в туалет.

Лариса опять прищурилась.

— Ах, приспичило? Ну, иди, иди.

Молодой человек вышел в коридор на ватных ногах. Он был бы счастлив услужить Ларисе, он бы многое был готов отдать ради этого, но суд!!!

Лариса смотрела ему вслед презрительно. Она ничуть не считала, что потерпела поражение в этой атаке. Парня додавим. Отлично было видно, как он вздрагивает, когда ему под нежный розовый ноготь втыкают иголку обвинения в любви к отечеству.

Сказать по правде, в это время в Ларисе в самой происходили сложные и противоречивые психологические процессы. Она то с особой силой ощущала себя дочерью русского офицера, и в ней кипело обжигающее “за державу обидно” вместе с неумирающей детской надеждой, что Чапаев доплывёт; то вдруг обнаруживала, что ей хочется вызволением нелепого Карапета либерально, почти по-диссидентски щёлкнуть по носу тупоумную, мягкотелую нынешнюю партийную диктатуру. Она была одновременно и за родимую родину, и за всеобщую свободу. И от невозможности остановиться в какой-то одной позиции неосознанно и непрерывно злилась. Карапет был не такой уж светоч и борец, но его бесчеловечно было бросить на годы в тюрьму. Но Карапет, вместе с тем, был бывший приспособленец, поэтому противно и нелепо защищать его своей собственной грудью. Вот за Николая Гумилёва она бестрепетно бы подставила под пули свою любимую водолазку. И если бы во имя большой государственной пользы надо было растоптать того прежнего, ничтожного, лизоблюдного Карапета, она бы позволила его растоптать.

Параллельно с этим она неожиданно забавлялась тем, до какой степени, оказывается, это действенный инструмент — обвинение в непатриотизме. Удивлялась как маленькая девочка, которая в груди мусора нашла скальпель и наслаждается возможностью полоснуть любого подвернувшегося.

А ведь и правда смешно. Все такие свободные. Высмеивают советские дороги, пустые магазины, пьянство, нищету, тупейшую власть, туалетную грязь, дикость правов, всё, всё, всё у нас сущее дерьмо, что ни сравни с западным, но стоит вот так прямо ткнуть пальцем — ты предатель! — с человеком что-то делается. Быть антисоветчиком как-то даже уже и естественно, но когда называют власовцем, автоматически страшно.

7

— Твоя фамилия не от белорусского волка, а от какого-то более мелкого зверя. Значительно более мелкого. Суетливого, как хорьковая белка. Даже нет, ты вообще не из фауны, ты жестяная игрушка, которая крутится со звоном.

Лариса вздохнула с какой-то окончательной разочарованностью в человеке.

— Береги честь смолоду, волчок-дружок.

Лариса удалилась в свой кабинет, а молодой консультант погрузился в кресло, как в сосуд с расплавленным свинцом. Удалившаяся Лариса была уверена, что осталось сделать всего несколько уколов в эту ничтожную совесть, чтобы обладатель её с воплями кинулся давать любые показания, если надо, то и на самого себя.

А дело между тем раскручивалось. На настоящий политический уровень оно не тянуло, хотя зам и старался. Но было ясно, что это и не простой про-

изводственный конфликт. Скоро уже все были в курсе, что Карапету маячит вполне реальная зона. Дядьку надо было спасать.

Волчка пригласили к настоящему следователю, и хотя он сразу же, с первого слова заявил, что ничего не видел, потому что рассматривал пятно на брюках, его муржили почти два часа. Молодой консультант стоял на смерть — ничего не видел!

А, может, слышал?

Был ведь звук удара? На что он был похож, на удар кулаком или открытой ладонью? Молодой человек запаниковал, понимая — попался. Забормотал что-то про среднее ухо, которое раньше всё время воспалялось...

Дав подписать ему каждый лист протокола, капитан, с отвращением подмахивая пропуск, сказал:

— Я понимаю, запугали тебя.

Волчок и не знал, что чувство освобождения может быть так связано с отвращением к себе. Он с удовольствием не пошёл бы на работу, но у него назначены были три важнейшие встречи. Одна как раз со специалистом по муниципальному устройству Римской империи.

Он сидел за своим столом, когда раздались шаги по коридору. Не шаги специалиста, консультант вжался в кресло. Лариса вошла, туманя свой облик дорогими табачными дымами, облако дорогого косметического запаха также ощущалось на расстоянии.

— Ну, ты ничего не хочешь мне сказать, патриот-надомник?

Всю ночь консультант не спал. На судьбу боевого армянина ему было плевать. Он был занят решением теоремы: как отбиться от Ларисы. Она явно наметила его в герои этого процесса, какова будет её месть, если он окажется, ему было настолько жутко думать, что он не думал. Но и капитанских щупалец официального закона он тоже боялся страшно. Как быть? Отвлекал себя боковыми мыслями: гад Прокопенко, вовремя слинял, всегда знает, когда скрыться у себя в семействе. Права Лара, что-то нечисто с его чистым счастьем!

В этот момент появился радостно улыбающийся специалист по муниципальному устройству Римской империи.

Римский гость сразу понял, что молодому работнику не до него. Парень с трудом подбирает нужные слова и при всей очевидности дела всё время соскальзывает сознанием с линии разговора. А с каким преувеличенным раздражением посмотрел он на телефонный аппарат, вдруг решивший зазвонить.

Звонила, разумеется, Лариса.

— Можешь не спешить. Опоздал. Можешь вообще здесь не появляться.

Молодой консультант вскочил так резко, что побледнел — отлила кровь. Тут же сел, боясь потерять сознание.

— Я оставил тут и анкету, и автобиографию, до свидания, — сказал приветливо римлянин. Ему хотелось задать несколько вопросов, обсудить дианастио Клавдиев, может быть и Антонинов, но было понятно, что спрашивать он будет зря.

Волчок выждал минут пятнадцать, надеясь на ещё один, может статься, смягчающий звонок с территории отдела Великой Отечественной войны. Никто не звонил. На шатающихся ногах отправился к дверям известного кабинета.

Постоял с минуту у запертой двери.

Он не знал, какие именно слова скажет, но, вместе с тем, уже считал себя решившимся. Только вот на что? Главное, снять этот сиюсекундный кошмар, а там будет видно, ведь суд не завтра, с ним — главным свидетелем — может случиться горячка, пожар или другое, столь же неожиданное событие.

Главное, чтобы она была там одна.

Лариса, Галка, Милован сидели за столом и пили кофе-чай. Вместе с ними сидел, как ни странно, Прокопенко. Вроде бы отвергнутый за нежелание включиться в движение спасателей Карапета. Он был в легком подпитии, что-то говорил, размахивая маленькими острыми ладонями. Чувствовалось, что он в центре внимания.

Волчок замер в дверях.

Пару секунд ему пришлось гореть на медленном огне общего испепеляющего внимания.

Наконец Лариса презрительно выцедила:

— Сади-ись.

По крайней мере не сказано: “Уходи”.

Сел, взял чашку, стоявшую на краю.

— Это моя, — сказал Прокопенко.

Других свободных чашек не было, пришлось сидеть с пустыми руками.

— Ну что, Волчок, тебе не стыдно?

— Что? — Волчок решил — всё, сейчас он объявит, что согласен! Только слотнет слону, и объявит.

Тем временем за столом шла общая беседа. Центром разговора, как ни странно, упорно продолжал оставаться Прокопенко, и не только центром, но и просто каким-то главным героем. Постепенно до сознания молодого консультанта стало доходить: счастливый семьянин решил принести большую общественную жертву. На предстоящем суде он покажет, что Карапет нанес удар Пызину совершенно открытой ладонью. Была пощёчина, и ничего больше.

Волчок осторожно встал и побрёл к себе. Ждал окрика в спину, но пронесло.

8

Суд состоялся вскоре в здании районного суда.

Шел дождь. Явились все “историки”, пришло много народу и из других “направлений” — “Биология” и “Искусство” в основном. Они толпились в тёмном дворе под подъездными козырьками, капли лупили в глубокие, полные грязной воды асфальтовые выбоины, изъязвлявшие здешний асфальт. Михаил Михайлович Александров стоял под липой и под зонтом, показывая, что ему горестна данная ситуация и что он выше всего этого. Он и был на полторы головы выше любого из собравшихся, а при своём зонте вообще казался башней.

Пызин стоял в сторонке один. Он никому из близких не позволил прийти, хотя, по слухам, никто особо и не порывался. Всё же отстаивать честь битой физиономии через судебную тяжбу не рыцарство.

До того момента, как всех должны были пригласить внутрь, в тесные помещения районного суда, оставалось ещё несколько минут. Карапет Карапетович достал из кармана какой-то журнал, долго листал, оказывается, искал нужную страницу. Ему сунули в руку ручку, он что-то стал писать на открытой странице. Поднял голову в огромных очках, нашёл фигуру бывшего шефа и вдруг побежал к нему через опасный для передвижения двор, прямо так, с открытым журналом, ловя на него безжалостные капли.

Стараниями друзей, считавших Карапета безусловной жертвой, была срочно напечатана в журнале “Работница” его статья о княгине Ольге, доказывающая, что Карапет Карапетович был всё же хорошим специалистом по истории Древней Руси, с которым напрасно расстались из-за наглого комсомольского номенклатурщика.

Михаил Михайлович не сразу понял, чего от него хотят. В первый момент ему даже показалось, что его заставляют подписать какое-то письмо или расписаться в книге каких-нибудь почётных друзей армянского народа. Когда понял, в чём дело, выставил вперёд ладонь, отказываясь от подарка. К чему всё это? Не надо!

Но не отступать же было Карапету. Раз уж он решил показать, что, несмотря ни на что видит в своём бывшем шефе человека, заслуживающего уважения, то он сделает это. Сообразив, что в раскрытом варианте журнал вручить не удастся, он захлопнул его, бросив внутрь и ручку, и сунул подмышку той руки шефа, что держала зонт. И быстро ретировался, петляя между кипящими от капель дырами в дне двора.

Суд прошёл по предполагавшемуся сценарию.

Всё сошлось на допросе Прокопенко. С него уже слетел хмель решимости, весь мёд страдания за други своя он уже сжевал в предыдущие дни, и теперь ему было тошно. Бледнел, насильственно улыбался шуткам болельщиков из своей команды. Но всё сделал исчерпывающе.

Да, ладонь. Да, открытая.

Вот так открытая. Показал пятерню, картинно отведя, даже немного дурачась, с трудом удерживаясь от улыбочки. Вот этим движением, по щеке. На абсолютную серьёзность моральных сил не хватало. Русский человек (пусть и по фамилии Прокопенко), преступая закон, невольно начинает куражиться, потому что иначе не может преодолеть стыд перед собой, а потому со стороны выглядит особенно нехорошо.

Срок получился условный.

Пызин, проходя мимо Прокопенко, сделал ему под ноги сухой плевком. Воздушный поцелуй в негативном смысле. Отчего все болельщики стали Прокопенку обнимать, пожимать.

Тойво мудро посасывал трубку в сторонке.

Милован откупоривал бутылку шампанского, извлечённую как будто прямо из дождя.

Галка верещала.

К Михаилу Михайловичу подошёл маленький худой армянин и потребовал у него свою ручку.

Михаил Михайлович потянулся к проходившему мимо герою процесса, тоже всячески обнимаемому дружескими руками.

— Карапет...

— Что?

— Тут какая-то ручка, журнал какой-то, я не понимаю...

— У меня есть не только имя, уважаемый Михаил Михайлович, но и отчество.

Шеф выпучился каким-то безумным взглядом на бывшего клеветы.

Совместными усилиями ручка отыскалась.

Окончание неловкой истории тонуло в немного нервном веселье.

Вся команда поехала к Ларисе. Энгельс, Бережной, Лион Иванович, все, кто был настоятельно приглашён поболеть за нужный результат.

Когда весёлая толпа с пакетами и бутылками вошла во двор, со скамейки под липами, занимавшими середину темноватого двора, поднялись с разной скоростью две фигуры. Быстро встал пожилой человек бравого вида, замедленно — полный мальчик. Было понятно, что это Ларисины гости. Но они не бросились вперёд, не зная, как себя вести при стольких чужих людях.

Гости тоже остановились.

Лариса сделала по инерции несколько шагов вперед и окаменела. В голове у неё наступала неприятная ясность, в душе брезжило раздражение. Что за идиотская провинциальная привычка: приезжать без предупреждения. То есть, если ты написал две недели назад, что будешь в два часа четырнадцатого, и приехал в два часа четырнадцатого через две недели, это всё равно, что без предупреждения! Можно же было хотя бы позавчера позвонить!

Две группы молчаливых людей стояли по разным берегам мелкой, прозрачной лужи.

Этот эффект Лариса испытывала неоднократно при встрече с гродненскими родственниками уже на протяжении нескольких последних лет. И сейчас у неё, как и всегда, было полное ощущение, что отец приехал вместе с Перковым, этой жирной, подлой, бездарной скотиной. Только почему-то сильно уменьшившейся в росте. И с каждым годом ощущение будет усиливаться — сынок будет подрастать, уже сейчас он капитану до плеча.

— Здравствуй, папа, здравствуй, сын.

Лион Иванович на правах старого друга семьи на пятках форсировал лужу и занялся суматошными рукопожатиями и объятиями.

— Молодцы, какие молодцы!

— Мы писали, — сказал капитан через его плечо, обращаясь к публике, которой, как он чувствовал, ломает кайф.

— Знаю, — сказала Лариса, — я очень рада.

— Может быть, мы в следующий раз? — шепнула ей Галка на ухо.

— Ни в коем случае!

— Правда, правда, Ларис, сын, Ларис, отец, — забормотала толпа гостей, понимающе вздыхая. Многие сослуживцы были в курсе, что у неё где-то вдалеке растёт сынок, но видели его впервые. Волчок же не знал и внутренне ожил, не станет же она, при родичах...

— Да вы что, такой день!

подавив всеобщую неловкость своею бодрой волей, Лариса погнала всех в подъезд. Когда входили в лифт, обняла сына за плечо.

— Ну, как доехали?

— Хорошо.

— Как в школе? А, поняла, лето.

— Лето, — согласился сын.

— Как мама?

— Шпоры. Тоже хотела приехать.

— Вы на сколько? — Это уже отцу, капитану Коневу.

— На сколько скажешь.

Несмотря на огромные усилия, приложенные хозяйкой для организации весёлого, беззаботного застолья, ничего путного не получилось. Хотя отец охотно поднимал рюмки и чокался то с Милованом, то с Бережным, а сын Егор тихо сидел на кухне и беседовал с Мусей, соседской кошкой, разгон застолью не дался. Это стало ясно в тот момент, когда Лариса потребовала завести песню “На границе тучи ходят хмуро” и попробовала солировать.

— Папа, ты же танкист! — укоризненно крикнула она отцу.

— Я пенсионер.

— На границе танки ходят хмуро, — скаламбурил сын космонавта и не заслужил поощрительного взгляда хозяйки, хотя обычно верткий, пошловатый юмор его ей нравился.

Галка выбежала на кухню подрезать колбаски. Сын сидел на стуле, глядя в окно на вновь начинающийся дождь. Короткие ноги в белых сандалиях висели не по-детски неподвижно.

— А ты чего здесь?

Он пожал плечами.

Галка, вернувшись, наклонилась к уху триумфаторши, которая в этот момент пыталась раскрутить новую ухарскую победную песню “Любо, братцы, любо, любо, братцы, жить!”

— А чего это Егор на кухне сидит?

Лариса отбрила её убийственным взглядом, лидер машбюро поняла, что лезет немного не в своё дело. Лариса тут же попыталась вернуться в течение песни, но та уже успела как-то просесть без её непрерывного напора и теперь разваливалась. Лариса вышла на кухню.

— Ты что это здесь сидишь?

Егор и тут показал себя с лучшей стороны. Не стал маме напоминать, как она охотно согласилась, когда он сказал ей, что пойдёт на кухню. Когда они вошли в комнату, все уже стояли — пора расходиться.

— Нет, нет, нет! — закричала хозяйка, хотя и ей было понятно, что гостей обратно за стол уж не впихнуть. Было очень досадно, и главное — некого было обвинить в саботаже. Отец, ради компании, отвечал на все вопросы касательно новейшей танковой техники, возможно, даже заходя за грань военной тайны. Сын готов был сидеть в подполе, пока не разрешат появиться на свет.

И всё же Лариса была в ярости. Единственное, чем она могла гордиться, что ей эту ярость удастся сдерживать.

— Эх вы! — устало и разбито вдруг вздохнула вдохновительница сегодняшней победы. — Ну, тогда выметайтесь.

И она обняла за плечи двух приехавших к ней мужчин.

Лион Иванович, уже целуясь в дверях, шепнул Ларисе:

— Завтра же ко мне, устроим парню туда-сюда культурную программу. Зоопарк, планетарий...

— Да, дядя Ли, займись уж. Сам говорил — они же тебе как родные.

Но не одна лишь борьба за освобождение Карапета Карапетовича от уголовной ответственности занимала Ларису в эти дни. Развивалась в ней невидимая духовная жажда, и она искала случая её утолить.

Однажды Питирим и Энгельс предложили ей, “а поехали с нами”. “Куда?”. Оказалось, что в очень хороший дом. В районе старого Арбата. Буквально в двух шагах от Староколюшенного. Лариса всегда с большой лёгкостью откликалась на предложения “продолжить”, а тут ещё и интригующая география. По разговорам в такси Лариса поняла, что предстоит не рядовая попойка, человек, которым с ней хотят поделиться, важный и идейно, в хорошем смысле, влиятельный. Питирим рассуждал о нем, как и всегда обо всех, запростецки, но это не могло скрыть запрятанного в глубине пиетета. Энгельс, так тот просто сыпал дифирамбами. Было понятно, что её угощают редким московским блюдом.

Обычно, если преамбула так пышна, то сам спектакль разочаровывает. Но не в этом случае. Венедикт Дмитриевич Поляновский произвёл на Ларису огромное впечатление. Худой, седой, видный, улыбочивый старик в пристойно поношенном халате, шёлковой свежей рубашке приветливо принял молодых гостей. Они привычно протопали на кухню. Хозяина абсолютно не смутило появление винных бутылок из торбы Энгельса. Для себя он поставил чай. Впоследствии выяснилось, что он никогда не был пристрастен к вину, но спокойно переносил распивание его другими в своём присутствии. Как-то сам собой, ещё в процессе откупоривания, завязался очень существенный разговор прямо с выходом на самые главные темы, как будто в этом доме всегда поддерживалась, как огонь в печи, необходимая умственная атмосфера. Стоило гостю переступить порог, и его охватывало — а в чем смысл жизни?

Лариса была как губка, даже отключила автопилот кокетничанья и просто внимала. С первого раза в голове осталось мало, хотя голова и старалась. Русский путь, историческая роль православия, монархия и модерн, третий Рим или новый Иерусалим? Самым сильным моментом, кульминацией вечера было превосходное чтение пушкинского стихотворения “На взятие Варшавы”, с посвящением “русскому либералу”.

*Ты просвещением свой разум осветил,
Ты правды чистый лик увидел,
И нежно чуждые народы возлюбил,
И мудро свой возненавидел.*

Как молния ударила в приподнятый винным паром разум.

*Ты руки потирал от наших неудач,
С лукавым смехом слушал вести,
Когда полки бежали вскачь,
И гибло знамя нашей чести.*

— “Чистый лик” — это вы ведь от себя, да? Там ведь квадратные скобки вообще-то, — влез Энгельс, но Лариса так на него посмотрела, что ему стало стыдно за свою назойливую энциклопедичность.

Лариса прекрасно знала Пушкина, “Евгения Онегина” огромными кусками наизусть, даже лексически рискованную его лирику, но чтобы такое... Она засомневалась, спросить, или стыдно — где это напечатано? Но хозяин невольно пришёл ей на помощь, рассказал, что после публикации этого текста в сентябре 1831 года у него, текста, была сложнейшая судьба. Какие трудности приходится претерпевать при попытке заново предьявить его публике.

Лариса была поражена и восхищена. Она увидела и глубочайше осознала — вот оно! Ничего не было удивительного в такой мгновенной реакции. Все последние годы её бездумного, позорного бултыхания в жидком растворе мелкодиссидентствующей жизни в ней шло накопление нужных питатель-

ных элементов, они оседали на дне емкой души, и при попадании на это дно настоящего духовного семени произошёл резкий выход. Лариса ощутила что-то вроде тихой, просветляющей эйфории. Так далеко и глубоко стало видно, такая ясность соображения наступила, столько неразрешимых вопросов распутались сами собой.

Был и ещё один момент, дополнительно очаровывавший её как бывшую “упрямую дочь самиздата”: Поляновскому удалось самого Александра Сергеевича подать как запрещённого автора. Ещё со студенческих пор её приучали к мысли — читать имеет смысл только то, что гонимо властями. Гонимость была свидетельством настоящего литературного и идейного качества. Поляновский обеспечил этому пушкинскому стихотворению эффект двойной подлинности.

Она стала бывать у Венедикта Дмитриевича, сначала с Питиримом, явным любимцем хозяина, а затем и одна. И очень скоро эта сторона жизни сделалась для неё куда более важной, чем процесс Каранета. А стоило процессу завершиться успехом, как этот армянский камень легко скатился с её души.

Был подписан приказ о назначении Ларисы Николаевны Коневой на должность старшего консультанта. Через час после этого приказа последовало два заявления, от Голубева и Воробьёва, об увольнении по собственному желанию.

Михаил Михайлович, безрадостно подписывая их, поинтересовался, куда же пойдут его не самые худшие сотрудники.

— А вам не всё равно? — дерзко спросил всегда покорный Воробьёв.

Шеф стерпел этот тон и даже попытался сохранить интеллигентность, и сказал, что нет, не всё равно, ему приятно вспоминать годы совместной работы, и ему хотелось бы, чтобы такие хорошие работники, такие порядочные люди нашли себе достойное место и смогли...

— Успокойтесь, — презрительно выпятив губу, сказал Голубев, — мы уже давно поняли, к чему тут идёт, и, конечно, подумали о запасном аэродроме.

— А, так вам давно уже здесь... — Михаил Михайлович щёлкнул большими плоскими пальцами, подбирая слово.

— Нам не хватало вашего мужского поведения, — закончил Воробьёв, который, несмотря на более мелкую должность, был лидером в данной паре. Они гордо ушли.

Михаил Михайлович остался сидеть в полуразрушенном состоянии, пытаясь настроить себя против этой парочки.

— Мужское поведение... сдурели!

В разговоре с Милованом и Ларисой, который состоялся вечером того же дня, шеф довольно иронично отозвался о паре “лётчиков”. Ему, разумеется, утешительно было истолковать дело так, что не он их выдал, а они сами изначально поглядывали на сторону. В глубине души, если бы кто-то навёл резкость его зрения на эту проблему, старый морпех признал бы, что представляет причины и следствия местами, но ему не хотелось в глубины души, хотелось просто пристойного завершения этого месячного кошмара. О том, что Пызин тоже уходит, ему звонили из отдела кадров ЦК ВЛКСМ. И таким образом дело закрывалось. О том же, что зам заявил своим корешам в ЦК, что не желает работать с этим старым козлом-провокатором и антисоветчиком, Михаилу Михайловичу не сказали, щадя его возраст.

В своей раздумчивой медленной, мудрой по виду речи, обращённой к своим ближайшим соратникам по “направлению”, Михаил Михайлович долго и тщательно расставлял точки над “и”. Показывал умытые руки. “Они”, мол, сами все виноваты, и “голубые” братья с их высматриванием запасных аэродромов, и Пызин с его искажённым пониманием способов проведения национальной политики в органах культуры и науки.

Милован и Лара очень обрадовались услышанному, тут же дали понять шефу, что он видится им фигурой мощной, твёрдой, государственной, практически “ледоколом” нового идейного курса. К тому же и в высшей степени порядочным человеком, что им лестно трудиться под его руководством.

Сначала бывший аппаратчик Александров осторожно прищурился — что, мол, имеете в виду. Что за “новый курс”? И тут вдруг, неожиданно даже для Милована, считавшего себя более продвинутым в данной теме, Лариса взяла инициативу.

— “Новый курс” предполагает постепенное расставание со старой, партсоветской номенклатурной мишурой, сбрасывание ортодоксальной идеологической шкуры, плюс полный и тотальный отказ от низкопоклонного заигрывания с лево-либеральными, постеврокоммунистическими и педерастическими, неконформистскими и другими заграничными глупостями; отказ от публичной критики нынешнего режима с позиций “Голоса Америки”, а значит, ЦРУ, переход к его молчаливому патристическому перевариванию. Никакого социализма с человеческим лицом Горбачёва. Россия как высшая ценность. Новая государственность.

Михаил Михайлович откинулся на спинку кресла своей плоской, мощной фигурой, сдвинул брови на переносице. Милован искоса, с удивлённой улыбкой поглядывал на соратницу. Он тоже бывал у Венедикта Дмитриевича и знал происхождение этих формулировок.

— Вы понимаете, сейчас в обществе представлены всего две масштабных силы. Агонизирующий, скомпрометированный, высмеянный, выращенный в своей среде пять “пятых колонн” партаппарат. Партаппарат ещё силен, в нём гигантская инерция, средства, человеческий ресурс, но всё это тает, тает, скоро будет утрачена возможность адекватного управления всем этим монстром — СССР.

— А вторая сила? — спросил движением брови шеф.

— И огромный орден, класс, подвид, страта людей, выбирающих для себя тотально бессоветскую жизнь. Этих людей не устраивает всё, не только сегодняшнее государственное здание. В очередной раз нам грозит разрушение до основания, и никто не хочет думать над тем, что будет затем.

— И как быть? — Михаил Михайлович смотрел на Ларису с таким искренним недоумением, что та даже чуть победоносно улыбнулась.

— Нам мыслится промежуточный проект. Капитальный ремонт. Обесочивание глобальной государственной постройки и наполнение её новой, подлинно народной русской жизнью.

— Народ! — кивнул Милован, которому больше ничего не оставалось. — Правильно и вовремя опознанная воля природного русского большинства.

— А если конкретно, то новое общественное движение могло бы называться просто и понятно: “Братья и сестры” — заключила Лариса.

— Это же какой-то сталинизм! — с сомнением выдохнул Михаил Михайлович, у которого голова неприятно кружилась ввиду открывшейся картины.

— Придётся по капле выдавить из себя шестидесятника, — было тут же сказано ему, и с таким пылом, что он закашлялся. — Только две идеи остаются не скомпрометированными на настоящий момент: православный крест и русский меч.

Михаил Михайлович разумно кивал. Он сделал для себя успокаивающий вывод, что молодые люди — это, как всегда, торопящиеся люди. Ему немного льстило, что его считают достойным подобных откровений, не сбросили ещё на свалку перестройки, и очень приятно было осознавать, что его поведение в недавней истории расценивают как подвиг выдержанности и принципиальности, а не как-нибудь иначе.

А что касается конкретных дел, движений “Братья и сестры”, “Дяди и тети”, всё это маячило в такой безопасной отдалённости... Он не стал спорить с молодыми друзьями, пусть думают, что он медленно дрейфует в направлении их берега.

Когда это ещё дойдёт до конкретных дел.

Лариса не дала завязнуть разговору в области абстрактных понятий и перевела разговор в практическую плоскость.

— Так что, должность Голубева теперь свободна?

Михаил Михайлович кивнул и тут же помрачнел.

— И вы ещё никому её не предложили?

— Я не считал возможным вести переговоры за спиной живого заведующего отделом.

Как всё же приятно иметь дело с порядочным человеком.

— А приказ о моём назначении старшим консультантом вы ещё не отправили в отдел кадров?

Тут Михаил Михайлович всё понял, и понял, что понял поздно.

10

Для товарища Александрова эта история неожиданно закончилась повышением. Видимо, кто-то наверху решил, что он с большим искусством вышел из истории с мордобоем на летучке, и его назначили главным управляющим ЦБПЗ. Теперь под его началом была не только “История”, но и Физика”, “Химия”, “Искусство” и даже “Сельское хозяйство”.

Он пытался отказываться, но, будучи существом номенклатурным, понимал, что это бесполезно, только тяжёлая болезнь может ему позволить увильнуть от нового назначения. В его положении были возможны только два варианта — или наверх, или на пенсию. Да, кроме того, говоря спокойно, сам факт повышения отвращения у него не вызывал. Некоторую тоску рождало предвкушение новых обязанностей, что помешает, обязательно помешает полнее отдаться давно задуманной работе — книге мемуаров о войне и послевоенном строительстве. Разумеется, включают ещё в полдюжины комиссий и коллегий. Но тут уж ничего не поделаешь, такова жизнь крупных начальников. “Попробуем работать по утрам”, — решил он, понимая, что даже не попробует.

Так или иначе, место товарища Александрова в “Истории” освободилось. Комсомольские кураторы долго тянули с назначением, скорей всего потому, что место начальника “направления” в ЦБПЗ потеряло привлекательность, и трудно было найти желающих. И Ларисе пришла в голову превосходная административная идея — почему бы не выдвинуть в начальники своего. “Кого?” — спросил Милован. “А того подполковника”. — “Реброва?” — “Ну да”.

У Венедикта Дмитриевича подвизался один симпатичный молодой отставник, очень тянущийся к истинно историческому знанию. Автор простых, честных статей о русско-турецких войнах, печатавшихся от “Военно-исторического журнала” до “Москвы”. У Поляновского он получал редкие знания, а главное, новые идеи, и был за это истово благодарен. С открытым ртом смотрел своему герою в рот. Наверно, седому гиганту это надоело, и он как-то в разговоре проскользнул фразой о том, что подполковника неплохо бы приладить к какому-нибудь полезному месту. Лариса вспомнила об этом. Выяснила, что подполковник член КПСС, что было номенклатурно необходимо, и повела его вместе с Милованом к шефу.

При первом свидании он Михаилу Михайловичу даже понравился. Армейская выправка всегда идёт мужчине, и в отношении мужчины интеллектуального труда создает впечатление, что он способен мыслить чётко и конкретно. Почти всегда ложное. Михаилу Михайловичу, конечно, хотелось бы оставаться совсем уж над схваткой, но всё же без принесения каких-то жертв тут не обойтись. Хочешь пользоваться абсолютной и восхищённой поддержкой своего коллектива (а это так приятно быть живой легендой), изволь слегка подыгрывать обожателям. Тем более что с этим молодым подполковником они придумали хорошо: “А давайте, Михаил Михайлович, вы сами выйдете с его кандидатурой, не дожидаясь, пока там комсомолята в ЦК созреют с собственной. Причём не запросите, а заявите: вот взял работника. У них там голова идёт кругом, все перебегают из комсомола в ССОД, там будут крутиться главные деньги, а мы под шумок... Бумагу от Академии наук, что она, как всегда, на всё согласна, в три секунды организуем”.

— Это что, получается, я бунтую против комсомола?

— Да нет, вы показываете, кто в доме хозяин. Больше уважать будут. Все так делают.

Александров навел справки, выяснил, что подобные движения кое-где происходят. Старые ориентиры вроде бы никто официально не отменял, но между ними появились большие промоины, где шныряют с успехом для себя те, кто “понимает ситуацию”. Михаил Михайлович ситуацию до конца не понимал, поэтому решил поддерживать репутацию широкого человека. Давая волю “молодым ретроgrадам” у себя в “Истории”, давал волю и “пламенным ниспровергателям” в “Музыке”, которая теперь также была под ним. Там сидел худой, очень больной, абсолютно неуправляемый поклонник ленинградского рока. Михаил Михайлович, во-первых, ничего не понимал ни в ленинградском, ни в каком-то другом роке, во-вторых, сразу же почувствовал, что любая попытка вмешательства в деятельность “музыкантов” закончится чем-нибудь вроде самосожжения, поэтому сделал барственный вид — делайте, что хотите. Он попросил внучку Алёнку, солистку какого-то полудетского ансамбля, проконсультировать его по роковой части, так, чтобы в разговоре обнаружить достаточное знакомство с предметом.

Внучка посоветовала:

— А похвали, деда, Мамонова. — Кто такой? — А-а, такой, ревет про цветочки. — Понятно. А что на Западе? — Ну что — “Битлз”. Они всё равно не поверят, что знаешь что-то другое. Ринго Старр. Пошути, что тебе с войны нравятся барабанщики.

Заканчивая заседания главной дирекции “Музыки”, на котором он в процессе не издал ни звука, Михаил Михайлович произнес короткую речь. Начинаясь она фразой: “Ну, вернемся к нашим барабанам, как сказал бы Ринго Старр”. Заканчивалась: “И вообще, хотелось бы почаще слышать о “Звуках “Му-му”.

И покинул заседание. Все поняли — занятость!

Кое-кто, конечно, решил, что дедушка бредил, большая же часть скорее склонна была думать, что отставной генерал не так прост, как кажется.

II

Пока Михаил Михайлович зарабатывал себе авторитет на других этажах, в “Истории” продолжалась жизнь.

Милован опять развёлся, ночевал по друзьям, пил и от политических дел отошёл. Ребров попал под полное влияние Ларисы, что и понятно, две его попытки сыграть в какую-то административную самостоятельность она коварно скомпрометировала, используя своё знание местного психологического ландшафта и знание мужчин.

Вместо Воробьёва взяли мальчика после университета, хорошо одетого, неплохо образованного, улыбчивого и на всё готового. Он очень хорошо знал, что ему нужно. Он хотел должность консультанта в отделе, которым теперь руководила Лариса, и прямо взялся за дело. В отличие от ничтожного Волчка, непонятно чем озабоченного и чего боящегося, он не видел ничего особенного в том, чтобы завести роман с привлекательной тридцатидвухлетней начальницей. Он настолько открыто перешёл к ней в личное услужение, вплоть до того, что носил за ней портфель, что это даже не вызвало сплетён.

О чём судачить, если всё и так видно.

Бабич, такая у него была фамилия, постепенно брал на себя все внеслужебные дела начальницы: заплатить за квартиру, встретить родителей на вокзале, сходить в магазин за продуктами или в химчистку. Он часто бывал в жилище Ларисы, часто ночевал, но так до конца и не переселился. И обоим, кажется, устраивала некая незавершённость в отношениях. Разумеется, что при такой большой загруженности бытовыми проблемами начальницы на работе Бабич ничего не делал. Более того, никому бы и в голову не пришло этому удивляться.

Лариса относилась к нему как к своего рода комнатной собачке, иногда не удерживаясь даже от внешних проявлений этого отношения, но Бабич терпел. Была в этом положении своя выгода. Когда заболевает ваша собака,

вы оставляете все дела и занимаетесь её лечением. Однажды случилось так, что Бабич заурюмел. Настолько явно, что даже Лариса заметила. В чём дело? Да ладно. Говори, в чём дело? Брат. Какой брат?

Брат Вася. На предьявленной фотографии изображен был худой мальчик, с несчастной бритой головой и затравленным взглядом.

Его надо было спасать.

Его забили в армию. Он проходит курс молодого бойца. Их там муштруют. Заставляют раздеваться и одеваться, подъем-отбой, пока не сторит спичка в руках сержанта. А ведь он не просто так, он астроном... Погибнет мальчонка.

Лариса вдруг прониклась этой ничтожнейшей темой и решила вмешаться, несмотря на то, что была, как никогда, занята.

Ни одной свободной минуты.

Питирим и Энгельс, окрестив на квартире Поляновского Ларису в правильную идейную веру, впустили её в свой, до этого лишь угадывавшийся сквозь их поведение в ЦБПЗ мир. Они таскали её по довольно многочисленным компаниям, где собиралась “молодые капитаны” патриотизма. Это могли быть и кандидаты наук, борцы с норманнской теорией, и притесняемые в своих музеях рублёвоведа, заведующие редакциями больших издательств, и обозреватели газет и агентств, кинодокументалисты, только что прибывшие с Соловков или Валаама с поразительными плёнками. Попадались деятельные сыновья больших людей, тех, что почти из поднебесных слоев, дети членов большого ЦК, а то и кандидатов в члены Политбюро. Они вольнодумствовали против заявленного интернационального курса, проводимого отцами, отклонялись в чисто патриотическую сторону, вплоть до написания диссертаций о гоголевских “Выбранных местах”. Отцы их могли и не знать имён Ивана Киреевского, Шевырева и Леонтьева, и дети снисходительно прощали им их “ролевое поведение”. Тут никогда не доходило до решительного размежевания на отцов и детей. К тому же большие отцы своим отдалённым присутствием, как снежные памирские вершины, придавали определённый статус интеллектуальным играм “молодых капитанов”.

Это уже была, конечно, не богема. Люди типа Питирима, несмотря на всю свою яркость и интеллектуальную оснастку, там не правили. Там требовались немного иные качества: деловитость, практический ум, умение стать плечом к плечу, взять на себя какую-то будущую, ещё не вполне определённую ответственность. Бережной, Энгельс, несмотря на очень высокий уровень происхождения, сильно вредили своему образу каким-то излишним культурологическим трёпом, поминанием к месту и не к месту Розанова, портвейном, а то и совершенно неуместным эстетством. Отказывались вместе со всеми плевать осетриной при упоминании имени Набокова.

Да, да, и осетрина, и свинина с рынка были в изобилии. Сборища “молодых капитанов” происходили обычно не постно, а вполне наоборот. Выпивали хорошо, но чрезмерно. В разговорах и песнях заходили очень даже далеко, вплоть до Лавра Корнилова, да с таким общим воодушевлением, что иной член ЦК, прибредя к столу с другого конца бесконечной квартиры, только самую малость морщился, но протестовать не решался, боясь показаться ретроградом, когда воодушевлённо гремело: “Так за царя, за родину, за веру”.

Лариса до страсти любила эти сборища. Ей всякий раз казалось, что вот-вот, прямо сейчас сложится какой-то решительный, окончательный комплот, и пойдёт настоящее делание новой жизни. Она обычно подсаживалась к какому-нибудь самому чиновному из стариков (если дело происходило в номенклатурной квартире и хозяин снисходил до молодежного застолья) и заводила что-нибудь про фронт, да с таким жаром, как будто только что сама прибыла с последними сведениями из разбомблённого медсанбата. Вот только умылась и sprыснулась французскими духами и хлебнула трофейного “Наполеона”.

— Вот, — говорила она какому-нибудь заму председателя ВЦСПС, — вот неужели вы не понимаете, что сейчас опять у нас не страна, а сплошное Прохоровское поле?

Профсоюзный генерал ласково гладил её по атлетической коленке, а завтра говорил своему сыну или племяннику, что Лариса славная девушка, таких теперь уже не бывает. Какое горение, и как разбирается!

Так получилось, что Ларису, конечно, почти всегда приглашали на такие сборища растущих и перспективных, но при этом она с усугублявшейся досадой осознавала две вещи. Во-первых, вся эта патриотическая пластинка ходит всё по одному и тому же кругу, а во-вторых, и это было особенно обидно, её, в общем-то, принимая, даже обласкивая, принимают не совсем всерьёз. Не числится она на твёрдом счету среди членов невидимого тайного комитета зачинателей нового общенародного порыва. Роль её и заметная, и сомнительная. Сколько раз она намекала, что готова рвануть грудью вперёд на любые вражеские редуты, но ей, чуть поморщившись, намекали — пока ратовато.

Сломала голову, но додуматься не могла — в чём заковыка.

Но поставила себе целью, что поймёт, а, поняв, добьётся, и ещё заставит ныне сомневающихся мужчин извиняться.

Может быть, дело в том, что она тыкается в высшие штабные ряды без боевого приданого. У каждого там то дядя в верхах, то научный некоторый авторитет, то редакционное кресло, а у неё что?

И осознала через несколько месяцев: надо сколачивать свою стаю.

Выяснилось, что желающих вцепиться в хвост этой кометы хватает. Конечно же, и само собой, всё ребята с работы. За исключением Тойво. Да и чёрт с ним, чего можно ждать от эстонского курильщика!

Собственно, на мысль о “стае” натолкнул своим решительным переходом под её руку новичок, кудрявый Бабич. Сразу дал понять, и решительно, что он и оруженосец, и клевет, и нукер. Оказалось в нём сразу две пользы: хороший “комнатный” мужчина и орёл на посылках. Надо только о брате его Васе позаботиться, это будет такая плата за верность...

Оказался вдруг ведомым и остроумный, независимый Милован — такая выдалась полоса, один за другим произошли три сбоя с дамами: с женой, с любовницей, с докторантурой, тут поневоле захочешь прибиться к какому-то берегу.

Прокопенко. Ну, тут всё понятно, единожды сломанный ломаем до бесконечности. У него был старенький “москвич”, полученный в подарок от тестя. Так вот эта машина теперь обслуживала по большей части заведующую отделом Великой Отечественной войны. И что характерно, и сам Прокопенко, и его тесть, участник той самой войны, не видели в этом ничего особенного.

Волчок держался неподалёку просто в силу своей бесхребетности, уж лучше быть в привычной сфере влияния, а то окажешься вообще чёрт знает где.

Большим достижением была полная адаптация Реброва. Теперь ни одно решение в пределах “Истории” не принималось без консультации с нею, даже если инициатива исходила от самого Михаила Михайловича.

Да, в числе свитских, конечно же, должны быть упомянуты и Питирим с Энгельсом. Пьяницы, конечно, особенно первый, посему плохо управляемы. Пит вообще старался себя вести покровительственно, видя в Ларисе “хорошую бабу”, а не идеолога, но она соглашалась пока терпеть. Тем более что она всё же “росла”, а он потихоньку маргинализировался.

Этот пышный и весёлый двор жил по своим законам, представители его отпускались на время в семьи, на свои рабочие места, в командировки, в разврат, в запой, но главной своей частью они подвизались подле Лары.

Ярким моментом этого процесса явился “праздник миомы”.

Ларисе пришлось решиться на операцию. То, как и кто её организовывал, можно было бы рассказать, это интересно, но долго. Разумеется, что врач, делавший операцию по редчайшей по тому времени технологии, стал личным и бесплатным лекарем Ларисы, это можно было бы не говорить. Великолепен был сам первый выход победившей болезнь Ларисы в большое фойе хирургического центра. Да, она слегка сдала в выправке и осанке, но сколько прибавила во внутренней силе и пронизательности взгляда!

Десятки машин у подъезда. Десятки букетов внутри фойе.

Распорядительски реюющий над всем этим Бабич.

Шампанское. Аплодисменты.

Полное ощущение, что произошло рождение наследника в правящем семействе. Никакого значения не имело, что произошло действие, абсолютно противоположное родам. Человек, попробовавший на эту тему шутить, получил бы, пожалуй, и по физиономии.

Были все, кроме Тойво и Галки из-за отсоветовавшего мужа. Приехал на секунду и сам Михаил Михайлович.

Сила Ларисы была в том, что она не только умела принимать поклонение и подношения, она могла и рвануть на защиту, привлекая все силы и средства. Едва “встав на ноги” после операции.

Как раз выяснилось, что дела Васи Бабича стали совсем плохи. Выйдя из карантина, попал в очень плохую роту, где над ним форменным образом издеваются вот уже второй месяц. Как капитанская дочь, Лариса имела иммунитет к нытью, доносящемуся обычно из-за забора воинской части. Да, гоняют, через день на ремень, через два на кухню; да, ничего кроме холодной перловки и куска рыбы, похожей на кусок, оторванный от мумии на ужин; да, могут заставить бегать с зелёными веточками за окном, изображая для господина дембеля, прибавившего в казарме на втором ярусе раскачиваемой кровати, дембельский поезд, но ведь — не битва в окружении!!!

Но Бабич утверждал, что тут случай особый, какие-то нацмены сбились в шайку и навязывают свой шариат нашему уставу.

В одну секунду Лариса приняла решение.

Спустилась на два этажа вниз в “Армию”. Там как раз сидел и очень интересно рассказывал про современный ракетный крейсер уже тогда известный писатель Порханов. В течение трёх бутылок коньяка составила компания по спасению чести простого русского солдата из-под сапога плохих кавказцев.

Порханов спросил, где это?

Выяснилось, в суперсовременной танковой части. То есть в обмен на своё авторитетное участие он мог получить официальное право пощупать и погладить эти новые дивные машины.

Через Александра запаслись всеми нужными бумагами, получили в сопрождающие подполковника из ПУРа и на “рафике” со спецномерами рванули прямо в расположение соответствующего штаба в Подмосковье.

Некоторые служилые люди выражали сомнение в полезности этой акции, тем более проводимой с такой помпой. Мол, при встрече тамошние офицеры, конечно, пообещают помочь и разобраться, но когда общественная комиссия убудет, для младшего Бабича начнутся по-настоящему чёрные времена. Есть масса совершенно легальных сержантских способов просто стноить человека, не отступая ни на шаг от буквы строевого устава.

Лариса приняла эти сомнения как вызов и скомандовала — вперёд!

Военных раздражают проверки, они не любят гостей. А тут ещё баба, а тут ещё писатель и товарищ из политуправления. Было много церемоний.

Принимал командир полка. Уже седой, предпенсионный офицер. Отутуженный, настороженный. И его замполит.

Гостям показали казарму и койку младшего Бабича, сам он был в наряде, так было сказано. А всё же можно на него поглядеть, жив ли, попросил въедливый старший брат. Привели. Худой, испуганный мальчик в белом колпаке и чуть замызганном фартуке.

— Действительно в наряде! — сказала Лариса. — Ему идёт!

Она не заметила ужас, мелькнувший в глазах парня. Ибо не было ничего страшнее, чем наряд рабочим на полковую кухню. Из всех филиалов ада на земле это был самый-самый.

До того была прогулка вдоль секретных капониров. Новые машины осмотреть не дали, но дали послушать, как они режут на холостом ходу. Писатель потом так долго говорил о них, как будто не только слушал, но и фотосировал на одной из них Ла-Манш.

Обед накрыли в столовой, и тут Лариса сделала первый шаг к растапливанию льда в общении. Из своей изящной дамской сумочки она достала

бутылку французского коньяка, заставила старшего Бабича выпить компот из его и из своего стакана и плеснула сразу граммов по сто пятьдесят.

Комполка и замполит стали оглядываться. Дивизия гвардейская, обстановка служебная.

Лариса отпила чуть, одними кокетливыми губами, потом протянула остальное полковнику.

— Ну, что, дядь Лень, за наш гарнизон!

Что выяснилось? — полковник был сослуживцем капитана Конева по Слонимскому танковому полку, бегал у него в ротных. А теперь взлёт, столица, гвардия. Да, он вспомнил с весёлым удивлением шустрю девчонку-третьеклассницу.

Выпили, конечно.

Лариса и до этого случая замечала свой талант привлекать людей, и не вообще людей, а самых нужных и в самое нужное время. Но чтоб такое попадание...

Вторую бутылку от своих щедрот выставил замполит (разговор продолжился в более укромном месте — красном уголке), он всем своим видом намекал на происхождение из “прежних”, говорил “да-с” и подробно критиковал Тухачевского за его мечту превратить все трактора СССР в танки.

В какой-то момент медленно, как бы с уважением открылась дверь и вошёл генерал. В фуражке с высоченной (тогда так ещё не носили в советской армии) тульей, под козырьком горели глубоко посаженные глаза, поблескивали мужественные скулы и орлиный нос.

Офицеры косо вскочили. Но он милостиво сняв фуражку, обнажая причёску в виде стоячего бритвенного помазка, и представился — генерал Белугин.

Орел! — восхищённо подумала Лариса, а может, даже и произнесла вслух.

По правде говоря, генерал пришёл не к ней, он услышал о визите писателя Порханова. Он разделял его идеи “вечного вещества войны”, “нового технологического язычества” и “сакрального контрудара” и хотел увидеть мыслителя живьём.

Знакомство состоялось.

Генерал практически не пил.

Слушал снисходительно, но внимательно.

Не сказал ни одной банальности, которая как бы полагалась ему по чину.

Несмотря на то, что с угнетаемым бойцом всё решилось отлично — “если ему нравится эта форма (имелось в виду белое), пусть носит, хлеборез”, сказал дядя Ленья, — Лариса убывала из гвардейской дивизии в отвратительном расположении духа.

Генерал не обратил на неё никакого внимания. Хотя она была в полном порядке и знала это.

12

Конечно, “так” это оставить было нельзя.

Лариса снова нырнула в “Армию” к Полине Агапеевой, чрезвычайно деятельной и информированной тётке, которая и помогла ей с поездкой в гвардейскую дивизию.

Кто такой Белугин?

Полина — бывалая из бывалых — закатила глаза, мол, о, подруга, куда ты хватилась. Ничего у тебя не выйдет, дорогуша. Верный муж и верный зам начальника генштаба в недалёком будущем.

Рассказывай, рассказывай!

Выпивать девушки начали ещё семнадцатого августа. Бабича, мечтавшего зависнуть у неё в жилище, Лариса сурово отослала, чтобы не травмировать его своим интересом к другому мужчине. Сама она лишь пригублила и подливала подруге, чтобы разговорить её.

Рассказывай.

Полина была горда тем, что переспала почти со всеми командующими всех военных округов за последние двадцать лет. И с заместителями по политической работе. Лариса считала, что это обычное юбочное хвастовство, но подыгрывала подруге, зная, что, похваляясь, люди легче всего проговариваются. По роду службы — она побывала и референтом у одного из замов министра — Полине пришлось объехать десятки воинских частей, её любили за свойский характер и ценили за связи. Скольким она помогла выбраться из медвежьих углов на столичный паркет! Поговаривали, что у неё выход есть прямо в приёмную министра, она эти слухи не опровергала, хотя и не поддерживала.

— Так что с Белугиным?

— Говорю тебе, нет! Кремень. Наполеон. И в смысле Жозефины — обожает жену, и метит уж больно высоко.

— Но ведь орёл.

Полина кивала, в общем-то, да, многие увлекались, и даже, по слухам, кое-кто из заслуженных артисток Северо-Осетинской АССР...

Когда у Ларисы вся вышивка кончилась, Полина предложила катнуться к ней. На Можайку, пусть и не близко, но есть же такси.

Квартира у Полины оказалась четырехкомнатная, “упакованная”, просто хрустальная ваза, завернутая в ковер; раздвижные стеклянные двери, двухэтажный холодильник. Лариса даже стала думать, что история про командующих округами не такое уж враньё.

— А дети?

— Мои дети сами уже отцы. Разлетелись. Мне же сорок семь, баба ягодка совсем.

— И ты одна?

— Да ты что?! — усмехнулась Полина. Выяснилось, что мужик её где-то спит в глубине квартиры, и бояться его не надо, он даже если и выйдет, то отошьёт немного и в разговор не полезет.

Потом выяснилось, что его вообще нет дома. Он позвонил и сообщил, что внезапно вызван к месту службы. Выслушав это враньё, Полина повертела горлышком бутылки у виска — какая у него может быть служба? Восемнадцатого августа в ночь.

В общем, до конца дня они вырабатывали план атаки на Белугина, причём Полина всё больше пьянела и становилась, как бы сегодня сказали, всё более креативна, а Лариса трезвела и непрерывно мыла посуду, это всегда помогало ей сосредоточиться.

Перед отходом ко сну Лариса имела внутри себя целый архив на горделивого генерала.

Ранним утром следующего дня, выстоявшаяся под душем, spraysнутая чем-то вызывающе французским, взбодрённая чашечкой очень хорошего и крепкого кофе руководительница отдела ВОВ ЦБПЗ схватила такси у дворца спорта “Сетунь” и велела — “в центр”. Водитель долго мялся, но почувствовал, что такой клиентке не откажешь. Скоро стало понятно поведение таксиста. Параллельно его “жигулёнку” катилась по Можайскому шоссе в ту же сторону центра колонна танков и бронетранспортёров. Командиры машин торчали из люков, но в их позах отсутствовала горделивость.

— В чём дело? — спросила Лариса водителя. У Полины радио было отключено: “Чтоб не било утром по голове гимном”.

Тот объяснил — ГКЧП. Горбач к клетке в Крыму. Ларисе показалось, что к её волосам снова поднесли тот финский фен, которым она только что превращала в феерию свою причёску в роскошной ванной боевой подружки.

Дыхание истории. Не каждый способен его учуять. Не каждый учувший может правильно использовать.

— Гони! — скомандовала она водителю.

— Куда гони! Светофор!

— Какой ещё тут может быть светофор!

Она и в самом деле уже полностью мыслила поверх всех светофоров. Мысль неслась к пока неизвестным штабам, главное было успеть, промедление подобно позору. Секунда растерянности в решающий момент, и остаток жизни — догнivanje в арьегарде.

Но водитель был прав — светофор!

Остановился не только он, но и автобус, из которого сверху вниз пялилось прямо на них неприятное бородатое лицо — Иван Грозный с тяжкого похмелья. Остановилась и колонна бронетранспортёров.

Внутри у Ларисы вдруг стало как-то гаснуть: колонна военной техники пропускает хлебовоз и “рафик”?!

Нет, обозналась, не ветер истории. Придётся ещё разбираться, что это за такое.

Хорошо, что хоть причесалась!

13

Михаил Михайлович сумел никак не проявить себя в период трёхдневного правления ГКЧП, поэтому у власти удержался. В чём-то его поведение напоминало поведение Горбачёва в Форосе, но поблизости не оказалось своего Ельцина, чтобы его наказать за политическую невнятность. Все либеральные активисты ЦБПЗ были фигурами мелковатыми, буфетными ораторами вроде Саши Белова, а руководитель “Музыки”, единственный, кто обладал тем, что впоследствии станут называть харизмой, слёг как раз с сильнейшим диабетическим ударом.

Позиции Ларисы в “Истории” пошатнулись, образовалась группа демактивистов, почувствовавших, что пришло их время, и не скрывавших, что они этому рады. Тойво, Галка, причём со всем составом машбюро и отдела писем, и, главное, вдруг — Ребров! Его можно было понять, ему захотелось своего шанса, вокруг кипела жизнь, возникали какие-то банки и банды, на волне антикоммунистической демагогии можно было сделать рывок вперёд. При этом он утверждал, что ни в коем случае не предавал “дело Поляновского”, но, правда, встречаться очно с Венедиктом Дмитриевичем не стремился. Глаза были всё время встревожены, Ребров жил как на бегах. На кого ставить? Он с блеском вышел из КПСС, не с таким, конечно, как Марк Захаров, спаливший паспорт в телевизоре, но всё же эффектно. Таких людей, сумевших срок своего пребывания в партии засчитать себе как политзаключение, было много. Особенным красавцем показал себя муж Галки, он свою учёбу в аспирантуре ВПШ конвертировал в приятельские отношения с самим Бурбулисом. Если, конечно, машинистка не преувеличивала. Галка стала себе позволять покровительственные жесты в адрес заведующей отделом ВОВ.

Тамила Ивановна перестала заходить к ней со сводкой неофициальных событий на территории “Истории”, хотя общий дружелюбный тон сохранила.

Ребров вызывал Ларису к себе “посоветоваться”, и идея у него была всё время одна: как бы побудить “старика”, то есть Михаила Михайловича, к какому-нибудь более решительному проявлению положительных чувств в адрес новой власти.

Да, ГКЧП он вроде бы не поддержал, но осудил всё же чуть поздневатое, когда это был просто голос в общем хоре. Сейчас бы надо не скрывать своих передовых настроений.

— Ты же можешь на него повлиять.

— В смысле?

Ребров вскочил, прошёлся по кабинету. Лариса презрительно следила за ним тяжёлым взглядом.

— Ну, хотя бы из партии, он мог бы... ты понимаешь?

— Нет.

Ребров рухнул в кресло свернулся в нем личинкой, но тут же выпорхнул серой бабочкой.

— Ты пойми...

— И ты пойми, он боевой офицер, ветеран войны, он вступал в эту партию на фронте. — Лариса не знала этого наверняка, но считала, что имеет право на такое полемическое преувеличение.

— Да это всё, конечно, — кривлялся зам. — Но только его осознанный, такой демократический жест...

Лариса мрачно покачала головой и вышла вон, не скрывая возникающей неприязни к собеседнику.

— Что-то надо делать с этой сукой! — жаловался Ребров в тот же вечер одному из понимающих комсомольских менеджеров средней руки. Он наладил свои тропы в дом на Маросейке.

Тот отмахивался и вздыхал.

— Лучше не связывайся, само отомрёт. Как и твой Михалыч. Это уже близкие дела. Лучше наливай.

Ребров и сам чувствовал, что за Ларисой что-то клубится. Да, все эти специалисты по Михаилу Тверскому и любители Лавра Корнилова пока тихо попрятались в поры старой жизни ввиду новейших политических мод, но погасли ли они окончательно? Он искренне, со всем вятским коварством ненавидел эту старомосковскую снобь и даже хотел бы отомстить за то, что вынужден был перед нею в своё время пресмыкаться, но трусил. Его звали на хорошее место в новый ловкий банк, а он боялся расстаться со своим здешним мелким, но прочным местом.

Сердце разрывалось меж двух карьер.

14

У Ларисы было такое впечатление, что крутнули гигантский калейдоскоп, и теперь она с удивлением рассматривает новый глобальный рисунок жизни. Прежде у неё было ощущение, что она один из самых всё понимающих и решительно действующих людей, и ей было неприятно осознавать, до какой степени почти все остальные оказались больше готовы к переменам, чем она.

Впрочем, не все.

С некоторым даже интересом она обнаружила, что у её ног по-прежнему толчется стайка ценят мужского пола. Они не разбежались, им легче пережить смуту поблизости, в надежде, что она придумает, что и как делать дальше.

Ну, с Бабичем у них был медленно мерцающий брак, даже произошло какое-то сближение с семейством. Отец “супруга”, молодой, ещё крепкий, нахрапистый мужик, директор мясокомбината, очень к ней благоволил и даже вроде как шутливо ухаживал. Всё понимал: “поматросишь ты моего парнишку и бросишь”. Лариса и не скрывала: никакого по-настоящему прочного союза она себе здесь не планирует. “Тогда отрежь и отринь”. Лариса честно пробовала, несколько раз заводила разговор о том, чтобы Бабич-младший поискал себе настоящую жену. Всё это делалось спокойно, без всякого надрыва. Так герцогиня побуждает жениться своего надоевшего любовника-конюха на камеристке.

Прокопенко и Волчок держались на некотором расстоянии, но не потому, что отказались от старшей подруги, а просто не знали, как себя вести. И стоило прозвучать первому её конкретному окрику, тут же встали в позу прежнего подчинения.

Прежде Лариса их гнобила и шпыняла, обвиняя в самодовольстве и предательстве, теперь отложила кнут. “Настоящее достоинство — это достоинство, сохранённое в поражении”. — Такая у неё теперь была формула.

Молодые люди, как подавляющее большинство жителей страны, были жителями политического болота. Им противно было, задрав штаны, бежать за Собчаками, но и свинцовые мерзости старых партийных порядков были отвратны. “Открытая часть закрытого партсобрания”. “Да здравствует братство республик-сестёр!” Такое, конечно, хотелось забыть. Но и новое не восхищало. Они просто кивали напористому телевизору, да, да, победа, но не обнаруживали внутри источника истинного ликования.

Противно и тяжело быть никем.

А тут вдруг оказалось, что они не просто так, не мусор в щелях истории, а носители подлинного, обиженного благородства. Они что-то вроде

партии, временно отошедшей с передовых позиций. Бинты на ранах после совместного поражения связывают крепче, чем флаги общей победы.

Таким образом, влияние Ларисы в “Истории” стало, с одной стороны, слабее, но с другой — как бы и сильнее. Если раньше сбежать из-под её колпака было делом почти желанным, то теперь представлялось практически немислимым. Всё равно что бросить раненого друга.

Разумеется, и Милован, получивший страшный печатный нагоняй за несвоевременную статью про своего кормильца Булгарина, кажется, в “Московских новостях”, тянулся туда же. Причём, как и все очень образованные люди, считал, что именно он является и мозгом кружка, даже не представляя, до какой степени это не так.

Бережной и Энгельс также стали залетать на огонёк всё чаще. Причём с ними присоединилась ещё одна мощная линия. В “Историю” стали заглядывать священники. В прежние времена привлечь к работе ЦБПЗ священнослужителя, тем более официальным порядком, было невозможно. Бережной с Энгельсом хотели, но терпели. Теперь же — свобода!

Физики и химики потащили экстрасенсов, инопланетян, гадалок, свидетелей падения Тунгусского метеорита.

Армейцы — бывших офицеров Иностранного легиона.

Историки — священников.

Теперь каждое застолье было как бы освящено, и рядом с Че Геварой появилась икона.

(Продолжение следует)